

СРПЕСТИТЕЛНИК

5

НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ



ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР

НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ



ERNEST GELLNER

NATIONS AND NATIONALISM

BASIL BLACKWELL 1983

ЭРНЕСТ ГЕЛЛНЕР

НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ

*ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Т. В. БЕРДИКОВОЙ И М. К. ТЮНЬКИНОЙ*

*РЕДАКЦИЯ И ПОСЛЕСЛОВИЕ
И. И. КРУПНИКА*



МОСКВА «ПРОГРЕСС» 1991

ББК 66.5 (0)
Г 31

Редактор В. С. Мухин

Геллнер Э.

Г 31 **Нации и национализм: Пер. с англ./Ред. и послесл. И. И. Крупника.— М.: Прогресс, 1991.—320 с.**

В книге профессора социальной антропологии Кембриджского университета Э. Геллнера раскрывается одна из актуальных проблем современного мира — проблема национализма. Автор прослеживает его социальные корни, рассматривает вопрос, что представляют собой нации, показывает процесс их исторического формирования и национальные взаимоотношения на различных этапах развития общества.

Для широкого круга читателей.

Г 0202000000—082 14—91
006(01)—91

ББК 66.5 (0)

*Редакция литературы по географии,
экологии и народонаселению*

Заведующий редакцией
О. Д. Катагощи

© 1988, Gellner Ernest
© Перевод на русский язык
Т. В. Бердиковой, М. К. Тюнькиной
© Послесловие И. И. Крупника
1991

ISBN 5—01—002692—9

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

В этой книге я изложил теорию национализма, чтобы объяснить, почему в наше время национализм является столь важным политическим принципом.

Прежде всего необходимо отметить, что термин «национализм» используется в книге в значении, которое он имеет в английском, а не в русском языке. В современном русском языке это слово имеет явно отрицательный оттенок: оно употребляется в тех случаях, когда говорящий хочет выразить свое неодобрение неумеренности, жестокости, исключительности, нетерпимости или каким-либо еще столь же неприемлемым сторонам националистического чувства. В английском языке, напротив, термин употребляется в нейтральном смысле и не содержит оттенка как одобрения, так и неодобрения. Он употребляется в книге для обозначения принципа, требующего, чтобы политические и этнические единицы совпадали, а также чтобы управляемые и управляющие внутри данной политической единицы принадлежали к одному этносу. Подобный

принцип может быть хорош или плох; он может быть универсален или вовсе непригоден — вопрос остается открытым. Та нагрузка, которую несет само слово, никоим образом не должна оказывать влияния на выводы.

Выводы эти достойны рассмотрения и обсуждаются в книге. Но слова, которыми мы для этого пользуемся, не должны ограничивать нас и навязывать нам решения. Именно в таком духе термин и используется нами.

Вне всякого сомнения, основная идея книги является частью исторического материализма. Доказательством служит тот факт, что небывалый накал национализма в девятнадцатом и двадцатом столетиях есть отражение и следствие индустриализма — способа производства, возникшего и распространившегося именно в этот период. Это явилось результатом исчезновения тех условий, когда большая часть человечества существовала в очень замкнутых и тесных сообществах, используя «культуру» — то есть способы выражения и общения — в основном для выделения своего собственного положения и положения своих близких внутри сравнительно стабильной структуры. Новый общественный порядок не предполагал замыкания в маленьких сообществах, а, напротив, требовал взаимодействия с огромным числом других людей в необъятном, мобильном, массовом человеческом море. При таком общественном порядке деятельность человека больше не ограничивалась ручным трудом

в окружении людей, знакомых ему на протяжении всей его жизни. Вместо этого она заменяется передачей сложных понятий другим людям при помощи стандартизованного способа выражения в ситуациях, когда само по себе сообщение — вне зависимости от контекста должно передавать требуемый смысл.

Именно это значение обрело слово «работа» в нашем мире, и она может быть выполнена соответствующим образом только людьми, получившими образование, грамотными, теми, кто способен следовать руководствам и инструкциям. При старом общественном порядке было невозможно и нежелательно иметь универсальное образование; в современном индустриальном обществе это необходимо. Основное предназначение и идентификация человека связаны теперь с письменной культурой, в которую он погружен и внутри которой способен успешно функционировать. Это — высокая культура, передаваемая не путем неформального общения с непосредственным окружением, а при помощи формального обучения. На мой взгляд, именно этот фактор лежит в основе современного национализма и определяет его силу.

Подобный довод ни в коем случае не зависит от того, является ли данное индустриальное или индустриализующееся общество капиталистическим или социалистическим. Это крайне незначительно или совсем не отражается на описываемых мной социальных механизмах в том смысле, что

они не зависят от системы собственности, преобладающей в данном обществе. И в самом деле, подходя эмпирически, мы находим, что сила национализма не зависит от социальной системы, хотя и зависит от влияния, которое оказывает на нее индустриализм.

Если принять во внимание, что национализм рассматривается в книге в категориях *индустриального* способа производства, то может возникнуть вопрос, правомочно ли считать данную теорию марксистской. Такой вопрос представляется мне не имеющим оснований и схоластическим. Нет ни малейшего сомнения, что основное доказательство здесь есть не что иное, как применение основного положения марксизма о решающем влиянии способа производства на другие стороны общественной жизни. Автор ни в коем случае не принимает подобного представления в его обобщенном виде. Однако он придерживается особой точки зрения в случае национализма, ключ к пониманию, которого — действительно в способе производства, преобладающем в данном обществе.

Подобный довод не всегда кажется убедительным мыслителям, имеющим специфический взгляд на национализм и придерживающимся марксистской традиции. Неубедительность их взглядов более всего связана с недооценкой силы национализма. Тем не менее весьма существенно и интересно, что они разделяют подобное заблуждение (если так можно выразиться) со своими

главными противниками и оппонентами в понимании основ современного индустриального мира, а именно с последователями либеральной традиции. Недооценка национализма — это общая слабость двух традиций, марксистской и либеральной, и в этом заблуждении они единомышленны.

Однако подобного заблуждения не следует чрезмерно стыдиться. Вполне понятно, что оно явилось естественным следствием абсолютно обоснованных и весьма существенных представлений. Новое доказательство, изложенное с помощью понятий введенных в данной книге, звучит приблизительно следующим образом. Национализм — это то, что относится к сообществам, объединенным общей культурой и отличающимся от соперничающих или враждебных сообществ различиями в культуре.

Доиндустриальный мир чрезвычайно богат культурными различиями. Однако они подвергаются искажениям и разрушаются в страшном, безжалостном «плавильном котле» раннего индустриализма. Лишенный собственности крестьянин, оказавшийся в трущобах нового, индустриального города, вынужден принять его культурные традиции, разделить его неприязнь к зеленым лужайкам, которые он уже не может ни сохранить, ни передать своим детям. Космополитизм рынка, включая и космополитизм рынка труда, разрушает различия. В чем же тогда сила национализма, если культурные различия, на которые он опирается, неизбежно стираются?

Мое доказательство предельно доступно и, что еще важнее, обоснованно. Старые культурные различия действительно размываются и в большинстве заменяются общей космополитической культурой индустриализма. Старинные песни и танцы этнических групп продолжают сохраняться стараниями соответствующих фольклорных обществ, но подавляющее большинство молодежи предпочитает космополитическую, лишенную корней молодежную культуру.

Либеральные теоретики Запада и марксисты использовали эти идеи в несколько ином плане. Согласно марксистскому варианту, в условиях отчуждения, отрыва от корней, ставшего уделом промышленного пролетариата, люди, отбросившие свои культурные предрассудки, придут к идеалу, образцу и общей форме гуманизма, чтобы превратиться в новое мировое единство людей *an sich* *, и вполне естественно, они найдут свое подобие в пролетарском интернационализме. С другой стороны, их оппоненты — сторонники экономического *laissez faire* ** полагали, что преимущества свободного рынка для всех породят *Интернационал* всеобщего интереса, который преодолест атавистические частности культуры. Ничего подобного не произошло. В двух величайших войнах нашего столетия никому не удалось обнаружить ни буржуазного, ни пролетарского интернационализма. Печально, но факт: лучше делать

* Как таковое (нем.).

** Невмешательства (фр.).

выводы на основании фактов, чем не замечать или отрицать их.

И та, и другая стороны пытались найти козла отпущения, чтобы объяснить, почему не сбылись их ожидания. Марксисты упорно относили это за счет соперничества капиталистических стран, столкнувшихся с сокращением рынков сбыта, или объясняли это тем, что рабочий класс развитых стран был подкуплен и превращен в рабочую аристократию, гораздо более привилегированную в сравнении со своими собратьями в менее развитых странах. Западные теоретики обратились в основном к пониманию национализма как зловещей атавистической силы. Разумеется, фашизм еще больше усугубил подобное истолкование. Приняв эту теорию и исказив сопутствующие ей оценки, он приветствовал подобный атавизм, прославлял его и декларировал, что истинные источники жизнеспособности человека могут быть заложены только в его приверженности Blut und Boden *.

Мне не кажется, что подобные объяснения имеют какое-либо основание. И та, и другая стороны оказались правы, усмотрев разложение старых основ культурной дифференциации. Но ни те, ни другие не сумели обнаружить возникновения новых. Настоящее исследование предпринято для того, чтобы исправить этот недостаток, но оно также выражает несогласие с теми, кто принимает

* Крови и почве (нем.).

и поддерживает национализм в его собственных идеологических формулировках. Националистические теории обычно рассматривают нации как устойчивые, естественные социальные общности, которые лишь начинают действовать, или, используя любимое выражение националистов, «пробуждаются» в эпоху национализма. «Национальное пробуждение» — горячо любимое определение националистов. Здесь прослеживается заметная аналогия между этой идеей и марксистским разграничением между «классами в себе» и «классами для себя». Но я не верю, что нации существуют в том же самом смысле, что и классы.

Целесообразно предположить, что каждая определенная система средств производства порождает различные категории людей, кланы. Возьмем, к примеру, систему орошения в засушливой стране, где сельское хозяйство вообще возможно лишь благодаря сложной централизованной сети ирригационных сооружений. Можно представить себе, что те, кто управляет ирригационной сетью, и те, кто обрабатывает орошаемые поля, — это разные люди. Если они об этом не думают, они представляют собой «классы в себе», если же они думают об этом, они превращаются в «классы для себя». Это доказательство, независимо от того, обосновано оно или нет, и лежит в основе знаменитого и спорного представления об «азиатском способе производства».

Идея «национального пробуждения» в равной мере предполагает, что нации существуют «в се-

бе» до того, как достигается осознание наций «для себя». Но аналогия здесь неприменима. Доиндустриальный мир и в самом деле очень богат культурными различиями и всевозможными оттенками. Но очень часто он *чрезмерно* богат, чтобы породить нечто подобное нациям — даже нациям «в себе». Дело в том, что все сложные разветвления родства, занятий, расселения, политического союзничества, социального статуса, религии, сект и ритуалов очень часто пересекаются друг с другом, образуя крайне запутанную структуру, а вовсе не те заметные культурные различия между крупными человеческими общностями, которые привычны для нас в современном мире и которые мы рассматриваем как национальные границы.

Это сложное переплетение связей и соподчинений на деле является одним из механизмов, при помощи которых аграрное общество поддерживает свою стабильность. Таким образом, в нем часто попросту не существует «наций», способных «пробудиться». В нем имеется всего лишь богатейший набор пересекающихся, несогласованных, подтверждающих личный статус культурных различий, редко порождающих нации в современном смысле. Случается, что и здесь бывают глубокие культурные различия, определяющие границы чего-то подобного современной нации, но это происходит далеко не всегда, и такая ситуация не является нормой. Например, Западная Европа с ее сильными династическими государствами, каждое из которых, в общем, соответствовало определен-

ной лингвистической зоне, могла бы претендовать в смысле условий на развитие доиндустриального национального чувства. Однако исследования показывают, что лишь в XIX веке французские крестьяне начали осознавать себя французами более, чем членами местных сельских общин.

То, что осознавали недооценивающие национализм теоретики, было неизбежным и непреодолимым распадом местных общин и вызванной ими культурной дифференциации. Им не удалось уловить момент, когда культурная дифференциация, утратив свою прежнюю роль выразителя интересов старого мира, а именно перестав подкреплять и связывать его мелкие и стабильные структуры, не исчезла, но приобрела новую и весьма существенную функцию. При старом порядке она поддерживала социальную структуру, при новом — она заменила ее.

По самой природе своей производственной деятельности индустриальное общество является огромным, анонимным, мобильным и нуждается в хорошей коммуникативной системе для общения, независимо от ситуации. Такова современная культура. Она нуждается в обеспечении образовательными учреждениями и в их защите, и лишь государство в состоянии обеспечить и то, и другое. Это и создает ту критическую связь культуры и политики, которая составляет сущность национализма. Современный человек уже не подчиняется главе родственной группы, вере или своему господину; он является в первую очередь

подданным своей культуры. И происходит так совсем не потому, что он прислушивается к мистическому, атавистическому зову крови. Совсем наоборот: он реагирует на очень современную ситуацию и на предъявляемые ею требования не потому, что он каким-то особым образом поработан или подкуплен, а именно потому, что на него оказывают влияние его работа и жизненное положение.

Все это нуждается в понимании и разъяснении. Насколько применима эта теория к сегодняшней ситуации в Советском Союзе? Советский Союз унаследовал от царской империи невообразимое множество народов с огромными культурными, религиозными и языковыми различиями. Политическая организация нового государства была попыткой исправить такое положение с помощью расслоенной иерархии из союзных и автономных республик, автономных областей. Но ни одна бюрократически упорядоченная система подобных понятий не может упорядочить всю сложность реальной этнической ситуации; еще в меньшей степени способна она уладить возникающие многочисленные этнические конфликты, не обидев одного или обоих их участников.

Новая роль культуры наполнила ее более заметным и значительным содержанием. В старые времена, когда человек общался со своими деревенскими соседями, опираясь на культуру, усвоенную им бессознательно, просто на протяжении повседневной жизни, он редко, а порой никог-

да глубоко не задумывался над тем, какие именно язык и культура являются официально признанными в политической иерархии его общества и какая именно языковая среда существует или предпочтительна в его производственных, образовательных, коммуникативных или бюрократических установлениях. Язык, с помощью которого общались друг с другом бюрократы, его не касался. Сам он бюрократом не был. Разумеется, и тогда существовали межобщинные конфликты, но они скорее ограничивались конкретными местными интересами и не затрагивали символов культуры.

Теперь все иначе. Языки образовательных, бюрократических и коммуникативных установлений создали огромное различие для жизни и перспектив каждого индивидуума. В своей работе любой человек в каком-то смысле является бюрократом. Работа — это то, чем занимаются в «конторе». Наступила эпоха отчетливого этнически-культурного конфликта. Все мы существуем внутри обширной бюрократической сети, и тот, кто не вписывается в ее коммуникативную среду, становится второсортным гражданином.

Множество принципов может быть выработано в попытке разрешить подобные конфликты справедливо или даже дружелюбно. Разве не обязано большинство решать вопрос о своей культурной и политической принадлежности путем демократической процедуры внутри каждого округа? Увы, многое будет зависеть именно от того, как прочерчены границы данного округа: голоса-

ми людей можно распорядиться с помощью соответствующего нанесения границ. В Ирландии, где система политических манипуляций была доведена до высокой степени совершенства, появилось слово, по-настоящему отражающее ее: «подтасовка». В таком случае любая граница может показаться подтасовкой тем, кто не оказался в выигрыше. Существует также еще одна проблема: не станет ли простой призыв к местному большинству игнорированием географической и исторической преемственности, экономического равновесия, взаимодействия территориальной и этнической принадлежности?

Существует серьезнейшая проблема, возникшая как следствие того, что размещение некоторых народов является результатом насильственных переселений во время сталинского периода: сегодняшнее деление на меньшинство и большинство является плодом административного произвола. Почему подобные несправедливости должны продолжаться? Достаточно того, что люди были незаконно высланы, почему же их детей тоже вынуждают до сих пор терпеть поражение в правах?

Другие случаи этнического распределения являются результатами недавних экономических изменений: министерские решения, касающиеся размещения больших промышленных предприятий, быстро отражаются на этническом составе города, который предоставляет жилье его работникам. Но почему подобными административны-

ми решениями, принятыми в свете экономических или вовсе не относящихся к делу соображений, дозволено навязывать границы наций?

Наконец, некоторые этнические группы не представляют большинства нигде: должны ли они, таким образом, оказаться лишенными политической основы и опоры? Они тоже нуждаются в родине. Некоторые уже не составляют большинства на земле своих предков в результате экономического развития, которым они не в состоянии управлять. Должны ли они из-за этого быть лишены своей родины?

Столкновения подобных принципов и интересов поразительно многообразны. Различные принципы сталкиваются друг с другом и в своем применении противоречат друг другу. Каждая из конфликтующих групп естественно стремится выработать принцип, служащий ее собственной цели и отвергающий цели других. Печальной истиной является то обстоятельство, что удовлетворить все принципы и всех противников сразу просто невозможно. Любое решение оставит кого-то недовольственным. Решение окажется удачным, если лишь некоторые из заинтересованных сторон будут удовлетворены или если злоба и недовольство будут устранены разумным способом.

Остается отметить еще два обстоятельства. Принимая во внимание как саму природу проблемы, так и объективные условия, с которыми приходится сталкиваться, мы должны признать, что безболезненного выхода просто не существует.

Гегель заметил, что трагедия заключается не в конфликте правого и неправого, а в конфликте правого с правым. Такова очень часто природа межэтнических конфликтов. Их участникам собственные мотивы представляются очевидными и совершенно оправданными. Увы, то же чувство переполняет сердца их оппонентов. Никакой компромисс не обойдется без слез; счастье, если он обойдется без крови.

С другой стороны, конфликты может смягчить экономическое благополучие. Безусловно, этнические конфликты бывают более острыми, когда культурные различия, определяющие и порождающие современные нации, являются также знаками, подчеркивающими либо экономическое благополучие, либо отсталость. Всеобщее преуспевание по крайней мере ведет к большей степени терпимости, разумеется не гарантируя ее. Более того, современная общественная, политическая и экономическая жизнь не является больше территориальной: процветающими нациями являются не те, кто обладает большими территориями, а те, кто имеет эффективную промышленность.

Так что, в конце концов, существует некоторая доля истины в надежде, что прогрессивные формы производственной жизни приведут если не к интернационализму, то по крайней мере к значительно большей степени этнической терпимости. Индустриальное общественное устройство не привело к этому непосредственно и быстро, как ошибочно полагали некоторые из его ранних тео-

ретиков. Напротив, своей внутренней логикой оно вело прямо к опасности возникновения национального принципа в политике и к его бурным проявлениям, порой ведущим к крайней жестокости и катастрофическим последствиям. Но благоприятные последствия, которые не проявились и не могли проявиться изначально, быть может, реализуются, если не полностью, то в значительной мере — на более поздней стадии. Надежда на это у нас есть.

Эрнест Геллнер

Москва, сентябрь 1989 г.

Тузенбах: Через много лет, вы говорите, жизнь на земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но, чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали, нужно готовиться к ней, нужно работать...

Да, нужно работать. Вы, небось, думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный...

Антон Чехов. "Три сестры"

Politika u nás byla však spíše méně smělejší formou kultury.

(Все же политика у нас была менее смелой формой культуры.)

J. Sládeček, «Osmášedesátý»
('68) Индекс, Кёльн, 1980,
ранее ходила по рукам
в Праге в издании самиздата.

Наша национальность подобна связи с женщиной: она слишком тесно сплетена с нравственностью, чтобы беззастенчиво ее менять, и слишком случайна, чтобы стоило это делать.

Джордж Сантаяна

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Национализм — это прежде всего политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать.

Национализм как чувство или как движение проще всего объяснить, исходя из этого принципа. Националистическое *чувство* — это чувство негодования, вызванное нарушением этого принципа, или чувство удовлетворения, вызванное его осуществлением. Националистическое *движение* — это движение, вдохновленное чувством подобного рода.

Националистический принцип может нарушаться разными способами. Политическая граница государства может не охватить всех представителей соответствующей нации; или, охватив их всех, также включить инородцев; или сделать и то и другое одновременно: не охватить всех представителей данной нации и включить представителей другой. Кроме того, нация может жить, не смешиваясь с иноплеменниками, во множестве госу-

дарств, не имея *собственного* национального государства.

Но есть одна форма нарушения националистического принципа, на которую особенно болезненно реагирует националистическое чувство: националисты считают совершенно недопустимым с точки зрения политических норм, если правители политической единицы принадлежат не к той нации, к какой относится большинство населения. Это может быть либо результатом присоединения национальной территории к большему государству, либо результатом доминирования чужеродной группы.

Короче говоря, национализм — это теория политической законности, которая состоит в том, что этнические границы не должны пересекаться с политическими, и в частности, что этнические границы внутри одного государства — вероятность, формально исключаящаяся самим принципом в его общей формулировке, — не должны отделять правителей от основного населения.

Националистический принцип может иметь этический, «универсалистский» характер. Могут существовать и существуют абстрактные националисты, не склоняющиеся на сторону какой-нибудь одной — своей — национальности и великодушно проповедующие общую для всех доктрину: дать всем нациям возможность жить под собственной политической крышей и дать им волю не принимать под нее инородцев. В утверждении такого незгоистического национализма формаль-

но нет ничего несообразного. В пользу его как доктрины можно выставить довольно веские аргументы, такие, как желательность сохранения культурной самобытности, разнообразия мировых политических систем, ослабление напряженности внутри государства.

В действительности же национализм почти никогда не был ни столь отрадно благоразумен, ни столь рассчитанно уравновешен. Вполне вероятно, что, как считал Иммануил Кант, пристрастность, склонность во всем делать себе исключение — *основная* человеческая слабость, из которой проистекают все остальные; и что она наряду со всем прочим поражает и националистическое чувство, пробуждая то, что итальянцы во времена Муссолини называли *zasto egoismo* * национализма. И вероятно, политические проявления националистического чувства стали бы гораздо умереннее, если бы националисты так же остро чувствовали несправедливости, совершенные их нацией, как они чувствуют несправедливости, совершенные по отношению к ним.

Но есть и другие, гораздо более существенные соображения, связанные со специфической природой того мира, в котором нам довелось жить и который восстает против всякого беспристрастного, общечеловеческого, благоразумного национализма. Можно представить это самым элементарным

* Святым эгоизмом (*um.*).

образом. На земле существует огромное количество потенциальных наций. На нашей планете есть также место для определенного количества независимых или автономных государств. Всякий разумный подсчет покажет, что число потенциальных наций по всей видимости намного, *намного* больше, чем число возможных жизнеспособных государств. Если этот аргумент, или расчет, верен, то не все националистические интересы могут быть в равной степени соблюдены, во всяком случае одновременно. Удовлетворение одних приводит к ущемлению других. Весомым подкреплением этого аргумента является и тот факт, что очень многие из потенциальных наций не живут или до недавнего времени не жили территориально сплоченными группами, а перемешаны друг с другом в самых сложных соотношениях. Отсюда следует, что территориальная политическая единица может стать этнически однородной только в том случае, если будут истреблены, изгнаны или ассимилированы все инородцы. Их нежелание мириться с подобной участью может сильно затруднить мирное осуществление националистического принципа.

Конечно, к этим определениям, как и к большинству определений, следует подходить здраво. Националистический принцип, как он определяется выше, не нарушается проживанием в стране *небольшого* числа иностранцев или единичными случаями появления иностранцев, скажем, в правящей национальной фамилии. Сколько именно

инородцев должно оказаться в стране или среди представителей правящей верхушки, чтобы этот принцип можно было действительно считать нарушенным, трудно установить с точностью. Нет такого рокового числа, которое отделяло бы момент, когда с присутствием иностранца еще смиряются, от момента, когда к нему начинают относиться враждебно и его жизнь оказывается в опасности. Нет сомнения, что это число меняется в зависимости от обстоятельств. Однако невозможность назвать применимую ко всем случаям и точную цифру не умаляет полезности определения.

ГОСУДАРСТВО И НАЦИЯ

Наше определение национализма базировалось на двух еще не разъясненных терминах: «государство» и «нация».

Обсуждение вопроса, что есть государство, можно начать со знаменитого определения Макса Вебера [1]: это такая организация внутри общества, которая владеет монополией на законное насилие. Заключаящаяся в нем идея проста и притягательна: в хорошо организованных обществах, в каких большинство из нас живет или стремится жить, частное или групповое насилие считается беззаконием. Сам по себе конфликт не беззаконен, но его решение при помощи частного или группового насилия не допускается. Насилие может применяться только центральной политической вла-

стью и теми, кому она дает такое право. Из различных мер поддержания порядка крайняя мера — сила — может применяться только одной специально созданной, четко обозначенной, строго централизованной, дисциплинированной организацией внутри общества. Эта организация или совокупность организаций и *есть* государство.

Идея, вложенная в это определение, очень созвучна нравственному ощущению многих, возможно, большинства членов современного общества. Однако она не вполне удовлетворительна. Существуют «государства» или по крайней мере объединения, которые естественно было бы так называть, не пользующиеся исключительным правом на законное насилие на территории, которую они более или менее успешно контролируют. Феодальное государство зачастую ничего не имеет против междоусобных войн вассалов, если они при этом не забывают о своих обязанностях перед сюзереном; или же государство, где сосуществуют разные кланы, зачастую ничего не имеет против кровной мести, пока враждующие стороны не становятся угрозой для мирных людей на больших дорогах или в общественных местах. Иракское государство, находившееся после первой мировой войны под британской опекой [2], мирилось со стычками племен при условии, что их участники послушно сообщали в ближайший полицейский участок об их начале и завершении и составляли подробный бюрократический отчет о количестве убитых и захваченных трофеях. Ко-

роче говоря, бывают государства, которые либо не желают, либо не могут обеспечить соблюдение своей монополии на законное насилие и которые при этом, бесспорно, остаются во многих отношениях «государствами».

Однако основной принцип Макса Вебера может иметь применение именно в *наше* время, несмотря на его невероятный для обобщающего определения этноцентризм, явно берущий за образец централизованное государство западного типа. Государство является исключительно своеобразным и важным продуктом социального разделения труда. Там, где нет разделения труда, не может быть речи о государстве. Но далеко не всякая специализация создает государство: государство — это специализированная и концентрированная сила поддержания порядка. Государство — это институт или ряд институтов, основная задача которых (независимо от всех прочих задач) — охрана порядка. Государство существует там, где из стихии социальной жизни выделились специализированные органы охраны порядка, такие, как полиция и суд. *Они* и есть государство.

Не все общества оформлены государственно. Из этого со всей очевидностью следует, что в таких безгосударственных обществах проблема национализма не возникает. Если нет государства, естественно снимается вопрос о совпадении государственной границы с границами нации. А если нет государства, нет и правителей, а значит, во-

прос об их национальности тоже сам собой отпадает. Когда нет ни государства, ни правительства, не от кого требовать соблюдения принципа национализма. Такое негосударственное устройство общества может, наверно, вызывать недовольство, но это уже другая проблема.

Националисты, как правило, возмущались распределением политической власти и установлением политических границ, но они едва ли имели случай посетовать на полное отсутствие и границ и власти. Националистические настроения обычно возникали не тогда, когда государство как таковое либо вообще не существовало, либо его существование оказывалось под серьезным сомнением. Они возникали тогда, когда наличие государства становилось слишком ощутимым. Обычно это касалось его границ и или распределения власти и, возможно, других установлений, которые могли вызывать недовольство.

Это в высшей степени важный момент. Не только наше определение национализма невозможно без исходного, взятого как данность определения государства, дело еще и в том, что национализм проявляется только в среде, где государство уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Существование политически централизованных единиц и морально-политического климата, в котором такие централизованные единицы принимаются как безусловная реальность и считаются нормой, — необходимое, но еще не достаточное условие национализма.

Здесь следует, несколько забегаая вперед, дать некоторые общеисторические сведения о государстве. Человечество в своем историческом развитии прошло через три основные стадии: доаграрную, аграрную и индустриальную. Племена, живущие охотой и собирательством, были и остаются слишком малочисленными, чтобы у них развился тот тип политического разделения труда, продуктом которого является государство. Поэтому вопрос о государстве, постоянном специализированном институте охраны порядка, для них не существует. Напротив, аграрные общества — хотя и не все, но в большинстве своем — оформлены государственно. Некоторые из этих государств сильны, некоторые слабы, одни деспотичны, другие строго законны. Они очень различны по форме. Аграрный период человеческой истории — это период, в который как бы само существование государства есть предмет выбора. Более того, форма каждого государства крайне изменчива. В эпоху охоты и собирательства такой выбор был еще невозможен.

В послеаграрный, индустриальный век этого выбора опять-таки нет; но теперь уже *наличие*, а не отсутствие государства обязательно. Перефразируя Гегеля, скажем, что сначала ни у кого не было государства, затем оно появилось у некоторых и в конце концов оказалось у всех. Форма, которую оно принимает, конечно, остается по-прежнему изменчивой. Есть некоторые направления социальной мысли — анархизм, марксизм, —

которые утверждают, что даже или в особенности на индустриальном уровне развития государство необязательно, во всяком случае, при благоприятных условиях или при условиях, которые со временем неизбежно сложатся. Есть очевидные и веские основания в этом усомниться: индустриальные общества огромны, и уровень жизни, который стал для них привычен (или который они всеми силами стремятся сделать привычным), зависит от невероятно сложного всеобщего разделения труда и кооперации. Некоторые виды кооперации могут при благоприятных условиях складываться стихийно, без каких-либо указаний сверху. Но идея, что кооперация может всегда и во всех случаях осуществляться таким образом, без всякого принуждения и контроля, вызывает очень большое недоверие.

Таким образом, проблема национализма не возникает, когда нет государства. Из этого не следует, что эта проблема встает перед каждым государством. Напротив, она встает только перед *некоторыми* государствами. Остается разобраться, перед какими.

НАЦИЯ

Определение нации связано с гораздо более серьезными трудностями, чем определение государства. Хотя современный человек склонен воспринимать централизованное государство (и в частности централизованное национальное госу-

дарство) как нечто само собой разумеющееся, однако он без особого труда может уяснить себе его случайный характер и вообразить социальную ситуацию, при которой государство отсутствует. Он вполне способен представить себе «первобытное состояние». Антрополог может объяснить ему, что племя — это не всегда уменьшенное государство, что существуют формы племенной организации, которые можно считать негосударственными. Напротив, представление о человеке без нации с трудом укладывается в современном сознании. Шамиссо [3], француз, эмигрировавший в Германию в наполеоновский период, написал яркий протокафкианский роман о человеке, потерявшем свою тень. Хотя воздействие этого романа во многом основывается на умышленной двойственности иносказания, нельзя не догадаться, что для автора Человек без Тени — это Человек без Нации. Когда его приверженцы и друзья замечают это ненормальное отсутствие тени, они отворачиваются от Петера Шлемиля, несмотря на его прочие преимущества. Человек без нации бросает вызов общепринятым нормам и потому вызывает неприязнь.

Точка зрения Шамиссо — если это и в самом деле то, что он хотел выразить, — была вполне обоснованной, но обоснованной лишь для определенного состояния человеческого общества, а не для человеческого общества вообще в любом месте и в любое время. У человека должна быть национальность, как у него должны быть нос и два

уха; в любом из этих случаев их отсутствие не исключено, и иногда такое встречается. Но это всегда результат несчастного случая, и само по себе уже несчастье. Все это кажется самоочевидным, хотя, увы, это не так. Но то, что это поневоле внедрилось в сознание *как* самоочевидная истина, представляет собой важнейший аспект или даже суть проблемы национализма. Национальная принадлежность — не врожденное человеческое свойство, но теперь оно воспринимается именно как таковое.

Фактически нации, как и государства, — всего лишь случайность, а не всеобщая необходимость. Ни нации, ни государства не существуют во все времена и при любых условиях. Более того, нации и государства — случайность не одного и того же свойства. Национализм стоит на том, что они предназначены друг для друга; что одно без другого неполно; что их несоответствие оборачивается трагедией. Но прежде чем они стали предназначенными друг для друга, они должны были возникнуть, и их возникновение было независимым и случайным. Государство, безусловно, возникло без помощи нации. Некоторые нации, безусловно, сложились без благословения своего собственного государства. Более спорным является вопрос: предполагает ли нормативная идея нации в ее современном смысле априорное существование государства?

Что же в таком случае представляет собой эта случайная, но в наш век, по-видимому, уни-

версальная и нормативная идея нации? Обсуждение двух очень приблизительных, предварительных определений поможет добраться до сути этого расплывчатого понятия.

1. Два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если их объединяет одна культура, которая в свою очередь понимается как система идей, условных знаков, связей, способов поведения и общения.

2. Два человека принадлежат к одной нации лишь только в том случае, если они *признают* принадлежность друг друга к этой нации. Иными словами, *нации делает человек*; нации — это продукт человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей. Обычная группа людей (скажем, жители определенной территории или носители определенного языка) становится нацией, если и когда члены этой группы твердо признают определенные общие права и обязанности по отношению друг к другу в силу объединяющего их членства. Именно взаимное признание такого объединения и превращает их в нацию, а не другие общие качества — какими бы они ни были, — которые отделяют эту группу от всех, стоящих вне ее.

Каждое из этих предварительных определений — и по принципу культурной общности, и по принципу добровольности — по-своему ценно. Каждое из них выделяет элемент, который действительно важен для понимания национализма. Но ни одно из них еще не достаточно. Определения культуры, подразумеваемые в первом случае

скорее в этнографическом, нежели в нормативном смысле, явно сложны и неудовлетворительны. По-видимому, лучше всего подойти к проблеме, не слишком стараясь дать формальное определение этому термину, а рассмотрев, какова же в действительности *роль* культуры.

КУЛЬТУРА В АГРАРНОМ ОБЩЕСТВЕ

В аграрный период истории человечества произошло событие, сравнимое по своей значимости разве что с возникновением государства. Это было появление письменности и выделение особого класса или сословия грамотных людей — ученого сословия. Не все аграрные общества овладевают письменностью: еще раз перефразируя Гегеля, можно сказать, что поначалу никто не умел читать, затем читать научились немногие и в конце концов читать стали все. Таким по крайней мере видится путь, проделанный письменностью за три великие эпохи существования человечества. В середине аграрной эпохи грамотой владели немногие. Только некоторые общества создают свою письменность; и внутри тех обществ, которые ее создали, всего лишь малая часть — а отнюдь не все население — действительно умела читать.

По-видимому, письменное слово входит в историю вместе с казначеем и сборщиком нало-

гов: древнейшие письменные знаки свидетельствуют прежде всего о необходимости вести учет. Однако, развиваясь, письменное слово проникает и в другие сферы: правовую, торговую, административную. В конце концов, сам Господь Бог свои заветы и заповеди преподносит собственному творению в письменной форме. Теология, законодательство, судопроизводство, делопроизводство, врачевание порождают класс грамотных специалистов, тесно связанных или чаще всего конкурирующих с неграмотными знахарями. В аграрном обществе грамотность углубляет пропасть между большой и малой традициями (или культурами). Принципы и формы организации ученого сословия в великих, создавших свою письменность культурах многообразны, и глубина пропасти между большой и малой традициями может быть очень разной. То же можно сказать о взаимоотношениях ученого сословия с государством и о его собственной внутренней структуре: оно может быть централизованным или достаточно свободным, оно может быть наследственным или, напротив, представлять собой открытую корпорацию и т.д.

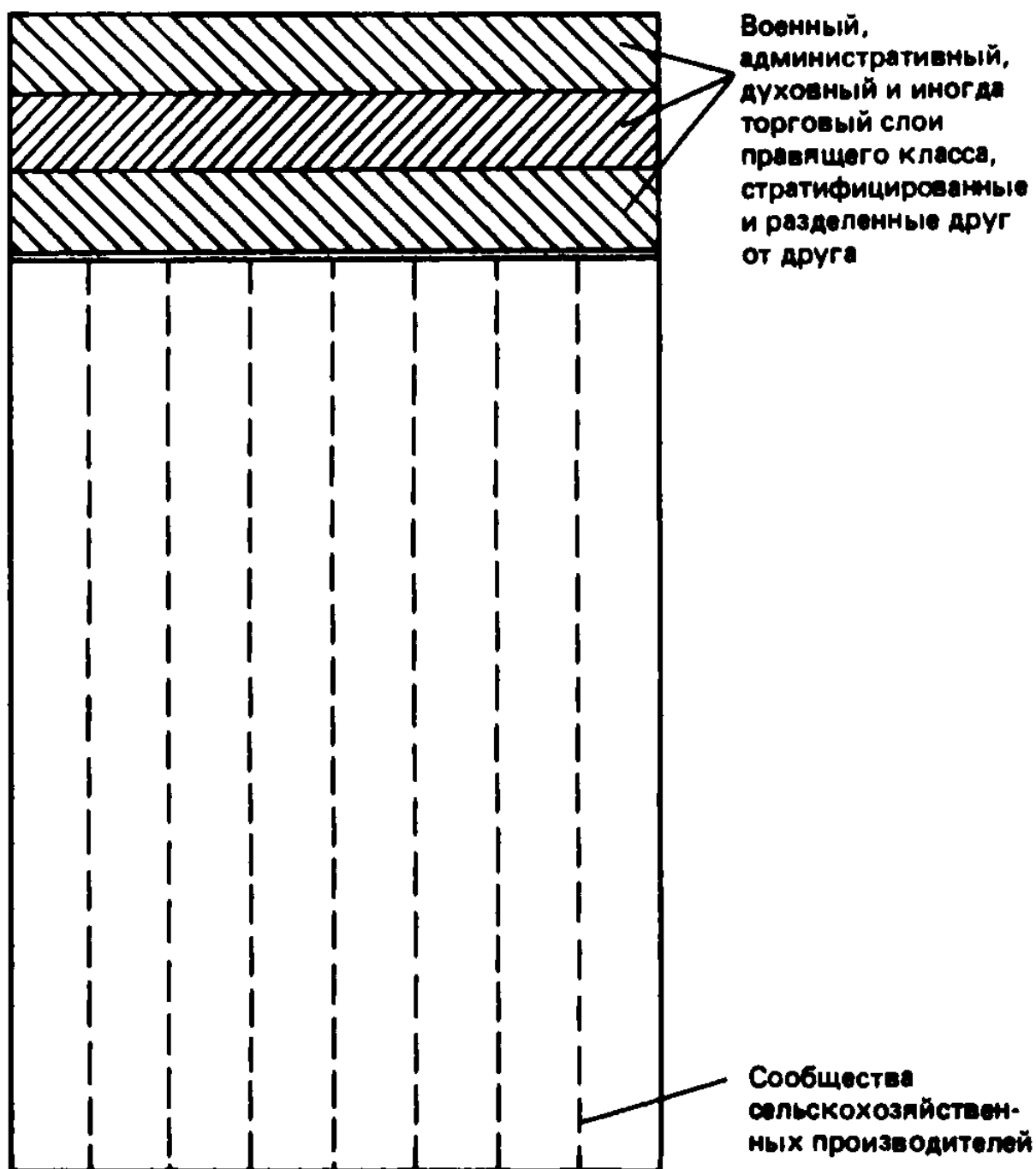
Грамотность, установление более или менее твердой письменной нормы в конце концов приводит к возможности накопления и централизации культуры и знаний. Централизация и кодификация знаний, осуществляемая ученым сословием, и политическая централизация не обязательно должны идти рука об руку. Часто они конкури-

руют, иногда одна подминает под себя другую, но все же чаще всего Красное и Черное [1], специалисты по части насилия и специалисты по части веры соперничают, не соприкасаясь друг с другом, и даже области их воздействия не совпадают во времени и пространстве.

ВЛАСТЬ И КУЛЬТУРА В АГРОГРАМОТНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Эти две важнейшие и характернейшие формы разделения труда — централизация власти и централизация культуры/знаний — имеют тесные и специфические связи с типичной социальной структурой агрограмотного государства. Эти связи лучше всего рассматривать в совокупности, и представить их можно следующим образом, как это показано на рис. 1.

В типичном агрограмотном государстве правящий класс составляет малую часть населения, четко отделенную от подавляющего большинства непосредственных сельскохозяйственных производителей или крестьян. Его идеология, в общем, скорее подчеркивает, нежели сглаживает неравенство классов и степень изолированности правящего слоя. Этот правящий слой в свою очередь может быть подразделен на ряд более специализированных слоев: воинов, священнослужителей, чиновников, купцов. Иногда эти слои (например, христианское духовенство) могут быть



ненаследственными и обновляться в каждом поколении, хотя их формирование может целиком зависеть от представителей другого, наследственного слоя.

Но самое важное заключается в следующем: как для правящего класса в целом, так и для слоев

внутри него гораздо существеннее подчеркивание культурной дифференциации, нежели общности. Чем больше отличаются друг от друга во всех отношениях разные слои, тем меньше трений и недоразумений возникает между ними. Система в целом благоприятствует культурному расслоению по горизонтали и может создавать и поддерживать это расслоение даже в случае его изначального отсутствия. Генетические и культурные отличия приписываются тому, что фактически отличалось по назначению, чтобы подчеркнуть это отличие и сделать его непререкаемым и незыблемым. Например, в Тунисе начала XIX века [2] правящая верхушка кичилась своей турецкой кровью, хотя не знала турецкого языка и в действительности была совершенно разнородна и постоянно пополнялась из низов.

Под расположенным наверху горизонтально расслоенным меньшинством существует другой мир — мир соседствующих мелких объединений (общин) простых членов общества. Здесь опять очень заметна культурная дифференциация, хотя причины ее совсем иные. Маленькие крестьянские общины обычно живут очень замкнуто, привязанные к своему месту если не политическим предписанием, то экономической нуждой. Даже если население данной области имеет общий языковой корень, а это не всегда так, нечто вроде культурного сдвига очень скоро приводит к диалектным и другим различиям. Никто или почти никто не заинтересован в сохранении культурного

единства на этом социальном уровне. Государство озабочено взиманием налогов, поддержанием мира и больше почти ничем и нисколько не печется о сохранении соседских связей между подвластными ему общинами.

Конечно, ученое сословие до некоторой степени заинтересовано в том, чтобы внедрить определенные общекультурные нормы. Некоторые его члены с презрением или равнодушием относятся к народным обычаям, другие, стремясь присвоить себе исключительное право на доступ в высшие духовные сферы, к вечному блаженству, право на врачевание и тому подобное, всячески преследуют и чернят народную культуру и вышедших из нее свободных знахарей. Но при тех условиях, которые обычно существуют во всех агрограмотных государствах, они не могут реально в этом преуспеть. Такие общества просто не имеют средств для того, чтобы добиться почти поголовной грамотности и приобщить широкие массы населения к высокой культуре, воплотив таким образом идеалы ученого сословия. Самое большее, чего оно может достичь,— это уверенности, что его идеалы утвердились в душах людей как законная, но недостижимая норма, уважаемая или даже почитаемая (а во времена особого подъема превозносимая до небес), но чтимая больше тогда, когда она попирается, нежели когда она соблюдается.

Но, возможно, основная и самая важная особенность агрограмотного государства заключается в следующем: все в нем противится приведе-

нию политических границ в соответствие с культурными.

Иными словами, если бы национализм был изобретен на этом этапе, вероятность его распространения была бы минимальной. Можно выразить это так: из двух потенциальных партнеров — культуры и власти — *ни один* не имеет тяготения к другому в условиях аграрной эпохи. Давайте рассмотрим их по отдельности.

КУЛЬТУРА

Высшему слою агрограмотного общества бесспорно выгодно всячески выделять, заострять и подчеркивать все отличительные, особенные и исключительные черты привилегированных групп. Очень сильна тенденция церковных языков к расхождению с разговорными, как будто бы уже сама по себе грамотность не создала достаточного барьера между духовенством и мирянами, и эту пропасть следовало еще углубить, не только переводя язык в мудреные письма, но и сделав его непонятным для слуха.

Установление горизонтальных культурных границ не только заманчиво, поскольку оно отвечает интересам привилегированных сословий и властей предержащих; оно осуществимо и причем довольно просто. Благодаря относительной стабильности агрограмотных обществ четкое разделение населения на сословия, касты или религиозные группы может осуществляться и поддерживаться, не вызывая серьезных трений. Напротив,

конкретизируя, абсолютизируя и узаконивая неравенство, государство усиливает его и делает привлекательным, окружив ореолом неизбежности, незыблемости и естественности. То, что заключено в природе вещей и потому вечно, не может быть ни оскорбительным для отдельного человека, ни физически непереносимым.

Наоборот, в сравнительно подвижном и неустойчивом обществе поддерживать эти социальные перегородки между различными уровнями невероятно трудно. Мощные течения все время размывают их. Вопреки тому, что предсказывал марксизм, к горизонтальной дифференциации склонно именно доиндустриальное общество, в то время как индустриальное, скорее, укрепляет границы между нациями, нежели между классами.

То же самое, только в несколько иной форме, наблюдается и на более низкой ступени социальной лестницы. Даже там роль часто незначительных, но важных для данной местности различий может быть велика. Но даже если локальная группа более или менее однородна, было бы в высшей степени неуместно связывать ее собственную самобытную культуру с каким-либо политическим принципом и говорить о соблюдении политической законности применительно к локальной культуре. По множеству очевидных причин подобная мысль была бы в тех условиях совершенно неестественна и показалась бы несуразной носителям этой культуры, будь она им растолкована. Локальная культура почти неощутима. Зам-

кнутая община обычно пользуется языком, имеющим смысл лишь в определенном *контексте*, в противоположность относительно свободному от контекста догматизму писцов. Но деревенский говор (или система условных знаков) не претендует ни на нормативность, ни на политическую значимость, совсем наоборот. С его помощью разве что можно определить место рождения всякого, кто открывает рот на местном рынке.

Если говорить коротко, это — мир, порождающий множество культур, но его условия *обычно* не благоприятствуют тому, что можно назвать культурным империализмом, то есть попыткой той или иной культуры занять главенствующее положение и заполнить собой всю политическую единицу. Культура имеет тенденцию либо к горизонтальному сечению (по социальным кастам), либо к вертикальному, разделяющему очень мелкие локальные общины. Факторы, определяющие политические границы, не имеют ничего общего с факторами, определяющими пределы культуры. Ученые сословия иногда пытаются расширить зону влияния своей культуры или, вернее, веры, в которую они облекли эту культуру; государство иногда поощряет крестовые походы, борьбу с «неверными». Но это не нормальные, распространенные явления в аграрных обществах.

Важно добавить, что в таком мире культуры находятся в очень сложных взаимоотношениях: во многих случаях совсем не просто бывает определить «культурные корни» данного индивиду-

ма. Например, гималайский крестьянин в разное время года и в зависимости от ситуации может вступить в отношения со священнослужителями, монахами и колдунами различных религий. Профессиональная каста, род и язык могут связывать человека с различными сообществами. Например, носители языка данного племени могут не признаваться сородичами, если они занимаются другой деятельностью. Образ жизни, занятия, язык, ритуалы могут не соответствовать друг другу. Экономическое и политическое преуспевание семьи может полностью зависеть от ловкого использования и поощрения этой неопределенности, от сохранения свободы выбора и связей. Ее члены могут не иметь ни малейшего интереса или склонности к четкому, категоричному самоопределению, которое теперь связывается с предполагаемой нацией, стремящейся к внутренней однородности и внешней автономии. В этой традиционной среде идеал всеохватывающей культурной общности не имеет смысла. Непальские крестьяне-горцы часто связаны с самыми разными религиозными культами и в зависимости от обстоятельств общаются на языке касты, рода или деревни (но не нации). Едва ли проповедь единства могла бы найти у них отклик.

ГОСУДАРСТВО В АГРАРНОМ ОБЩЕСТВЕ

В этих обстоятельствах мало стимулов или возможностей для того, чтобы культуры стреми-

лись, если можно так сказать, к монохромной однородности и политической экспансии и господству, за которые позже, с приходом века национализма, они в конечном счете начинают отчаянную борьбу. Но как дело обстоит с точки зрения государства или — более обобщенно — политической единицы?

Политические единицы в аграрную эпоху очень различаются по размерам и типу. Но их можно приблизительно разделить на два вида или скорее полюса: локальные самоуправляющиеся сообщества и большие империи. С одной стороны, существуют города-государства, остатки родовых общин, крестьянские общины и так далее, ведущие свои собственные дела, с очень высоким коэффициентом политического участия (по удачному выражению С. Андрески [3]) и с неярко выраженным неравенством; и с другой стороны — огромные территории, контролируемые сконцентрированной в одном месте силой. Очень характерна политическая форма, соединяющая два этих принципа: господствующая центральная власть сосуществует с местными полуавтономными общинами.

Нас занимает вопрос, есть ли в таком мире, где сосуществуют эти виды сообществ, силы, способствующие тому слиянию культуры и государства, которое составляет сущность национализма. Мы должны четко ответить: НЕТ. Местные общины строят свою деятельность в основном на личных контактах и не могут существенно увели-

чиваться в размерах, не меняясь при этом до неузнаваемости. И потому эти взаимодополняющие общины редко исчерпывают собой культуру, частью которой они являются. У них может быть свой местный говор и обычаи, но чаще всего это лишь варианты более широкой всепроникающей культуры, включающей множество других подобных общин.

Города-государства, например, редко имеют собственный язык. Древние греки, бесспорно, были достаточно типичны в этом отношении. Несмотря на острое ощущение общности своей культуры и контраста между ней и культурой варварской (между прочим, при довольно слабой горизонтальной культурной дифференциации между самими эллинами), они не выразили это чувство единства *политически* даже в стремлениях, не говоря уже о достижениях. Но когда под македонским владычеством создалось всеэллинское государство, оно очень быстро переросло в империю, далеко вышедшую за пределы эллинизма [4]. В Древней Греции, несмотря на своеобразный греческий шовинизм, не было ничего подобного лозунгу: Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer * [5].

ВИДЫ АГРАРНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ

Агрограмотное государство — это тип общества, просуществовавший около пяти тысяче-

* Одна страна, один народ, один вождь (нем.).

тий и, несмотря на разнообразие форм, имеющий определенные характерные черты. Подавляющее большинство его граждан — сельскохозяйственные производители, живущие замкнутыми общинами. Над ними стоит меньшинство, главные отличительные свойства которого — осуществление насилия, поддержание порядка и контроль над официальным знанием/мировоззрением общества, в конце концов воплощенным в письменности. Сословия, составляющие этот военно-ученый правящий слой, можно упрощенно классифицировать следующим образом:

1. Централизованные	Нецентрализованные
2. Оскопленные	Производители
3. Замкнутые	Открытые
4. Объединенные	Специализированные

1. И ученое и военное сословие может быть и централизованным и нецентрализованным. Средневековая католическая церковь — великолепный пример продуманно централизованного ученого сословия, которое успешно определяло моральный климат цивилизации. Исламские улемы [6] достигли того же, но почти при полном отсутствии какой-либо централизованной организации и внутренней иерархии, являясь теоретически открытым классом. Брамины [7] были не только учеными, но и замкнутой эндогамной группой; китайская бюрократия занималась и вопросами письменности, и вопросами управления.

2. С точки зрения централизованного государства основная опасность, как подметил еще Платон, заключается в установлении или сохранении связей между военными и духовными должностными лицами и определенными кланами, чьи интересы при наличии таких связей побуждают несущих службу людей отклоняться от сурового пути долга и чья поддержка к тому же может порой давать им слишком большую власть.

Способы противодействия этой распространенной опасности отличаются в деталях, но в целом они могут быть охарактеризованы как «осколечение». Идея заключается в том, чтобы оборвать кровную связь, лишив будущего воина/чиновника/священнослужителя либо предков, либо потомства, либо того и другого сразу. С этой целью использовались евнухи, физически не способные к воспроизведению потомства; священники, чье привилегированное положение обеспечивалось обетом безбрачия, лишавшего их возможности признавать свое потомство; иностранцы, чьи родственные связи можно было считать разорванными, или члены иным образом обделенных или обособленных групп, которые оказались бы беспомощными без поддержки пользующегося их услугами государства. Еще один путь — это наем «рабов», людей, которые, хотя привилегированны и могущественны, тем не менее, будучи «собственностью» государства, формально не имеют никаких других законных связей. Их состояние и положение могут в любой момент быть отняты госу-

дарством, не оставляющим за ними даже видимости права на защиту и таким образом избавляющимся от всяких претензий со стороны сородичей устранившегося лица.

Настоящие евнухи использовались очень часто*. Принявшие обет безбрачия священники, безусловно, играли заметную роль в христианском мире. Военные бюрократии рабского типа выделялись в исламских государствах после падения халифата. Из иностранцев большей частью состояли отборные дворцовые охраны и финансовые секретариаты империй.

Но «оскопление» не было универсальным. Китайская бюрократия набиралась из мелких земельных собственников; европейский класс феодалов быстро сумел принцип наделения земель за службу подменить принципом наследственного права на нее. Элитарные сословия, которым законом позволено воспроизводить себя социально и передавать свои привилегии по наследству, могут быть названы — в противоположность «оскопленным» — *производителями*.

3. Как в *открытости*, так и в *замкнутости* ученого, бюрократического и военного сословий есть свои преимущества. Европейское духовенство и китайская бюрократия формально были открытыми системами (как мусульманская улемá), хотя они в основном пополнялись представителями очень узкого слоя. В индуизме жреческая

* Hopkins Keith. Conquerors and Slaves. Cambridge, 1978, ch. 4.

и военно-правлящая касты были замкнуты и обособлены, и их взаимная (теоретическая) непроницаемость, по-видимому, была необходима для функционирования системы. В исламских странах, исключая времена мамлюков и янычар [8], ни ученое, ни военное сословия не «оскоплялись».

4. И наконец, правящий класс может *объединять* военную и духовную (и возможно, иные) функции или четко разделять их между *специализированными* группами. Индуизм формально их разделил. Европейский феодализм иногда их объединял, например в рыцарских орденах.

Было бы любопытно на конкретных исторических примерах рассмотреть различные возможные комбинации, обусловленные выбором той или иной из вышеназванных альтернатив. Однако для нашего исследования гораздо важнее то общее, что есть во всех этих вариантах. Все правители оказываются в своеобразном поле напряжения между локальными общинами, которые по своему уровню субнациональны, и горизонтально расчлененным верхним сословием, или кастой, которое более чем национально. Они преданы тому слою, который гораздо больше заинтересован в отмежевании от тех, кто находится внизу, нежели в насаждении у них своей собственной культуры. Этот слой довольно часто выходит за пределы данной политической единицы, является надполитическим и конкурирует с государственной властью. Лишь иногда (как в случае с китайской

бюрократией) он совпадает с государством, и тогда ему не чужд своеобразный национализм.

Единственное сословие, которое, можно считать, проводит определенную культурную политику в аграрном обществе,— это ученое сословие. Иногда, как в случае с браминами, эта политика имеет целью сделать свою и все прочие касты взаимодополняющими и взаимозависимыми. Они пытаются укрепить собственное положение, став незаменимыми, и взаимодополняющие роли, которые они отводят себе и непосвященным (отнюдь не претендуя на то, чтобы всех приобщить к своему знанию), формально препятствуют этому приобщению. Хотя брамины считают себя единственными авторитетами в отпращивании культа, они не желают иметь подражателей. Им неужгодна самая искренняя форма лести, подражание, хотя они его и порождают.

В других местах, например в исламских странах, ученое сословие со всей серьезностью берется за исполнение своих миссионерских обязанностей по отношению к недостаточно стойким «братьям по вере». Здесь нет обычая, предписывающего одним молиться, другим сражаться, а третьим работать и не допускающего смешивания этих сфер деятельности. Что касается религии, то она каждому разрешает совмещать все три занятия, если позволяют способности и сила. Этот скрытый эгалитаризм играет очень существенную роль в успешном приспособлении ислама к современному миру.

Таким образом, ни с формальной, ни с политической точки зрения здесь ничто не мешает проводить религиозно-миссионерскую культурную политику à outrance *. Но на деле все же остается проблема: если каждому будет дозволено полностью отдаться занятиям теологией, кто будет смотреть за овцами, козами и верблюдами? В некоторых областях Сахары есть племена, по межплеменному соглашению признанные «народом Корана». Но на практике это означает только, что служители культа традиционно избираются из их числа. Это не значит, что все они действительно посвящают себя религии. Большинство продолжает работать и воевать. Единственными сообществами, в которых очень значительная часть мужчин действительно занималась изучением Закона (Писания), были некоторые еврейские общины в Восточной Европе. Но это — особый и исключительный случай, к тому же эти общины всегда были лишь частью более обширного и более сложного общества.

Итак, по ряду очень глубоких, веских и неустранимых причин ученые сословия в агрограмотных государствах не могут полностью подчинить себе и поглотить все общество. Иногда их собственные законы запрещают это, иногда этому мешают внешние обстоятельства. Но последнее уже само по себе является достаточно непреодо-

* До последнего (фр.).

лимым препятствием, даже если законы поддерживают это стремление.

При аграрном строе пытаться на всех уровнях общества насадить единое ученое сословие и однородную культуру с заданными нормами, закрепленными на письме, было бы пустой затеей. Даже если такая программа содержится в некоторых теологических доктринах, она не может быть выполнена и никогда не выполняется. Она просто невыполнима. Для этого нет возможностей.

Но что случится, если ученое сословие в один прекрасный день *станет* всеобъемлющим, то есть эквивалентным всему обществу? При чем не в результате его собственных усилий, не с помощью какого-нибудь героического или мистического внутреннего *джихада* [9], но при содействии гораздо более эффективной, глубоко укорененной социальной силы, а именно полного перерождения всей природы разделения труда и производительных и познавательных процессов? Ответ на этот вопрос и определение характера этого перерождения подведут нас к пониманию национализма.

Заметим также, что при аграрном строе лишь некоторые элитарные слои в некоторых обществах систематически «оскоплялись» тем или иным из вышеописанных способов. Но, как и предвидел Платон, даже когда «оскопление» имеет место, трудно поддерживать этот обычай бесконечно. Охранники — будь то мамлюки или янычары, бюрократы или получатели пребенды [10] — коррумпируются, приобретают интересы, связи

и последователей или же поддаются соблазнам почета, богатства и славы. Человек аграрной эпохи кажется сделанным из нестойкого металла.

Его потомок, человек индустриального века, по-видимому, сделан из более благородного, хотя и не вполне чистого, металла. Что же происходит, когда вдруг устанавливается такой социальный строй, при котором ученое сословие становится, наконец, всеобъемлющим, когда само по себе владение грамотой является уже не особым видом деятельности, а непременным условием всех прочих занятий, которые фактически перестают быть наследственными? Что происходит, когда всеобщим и очень эффективным становится подобное «оскопление», когда любой из нас, самый обыкновенный человек, — это мамлюк de Robe *, ставящий служебный долг выше родства и семейных обязанностей? В век всеобщей учености и своего рода «мамлюкства» отношения культуры и государства в корне меняются. Высокая культура пронизывает все общество, определяет его и нуждается в поддержке государства. Именно в этом кроется секрет национализма.

* По чину (фр.).

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Истоки индустриального общества остаются предметом научных споров. И мне думается, так будет всегда. Поистине кардинальный переворот произошел в очень многочисленном, разнородном, сложноструктурном обществе, и это событие было *уникальным*. Ни одна вторичная индустриализация не может считаться событием, *равноценным* первичной индустриализации, так как все вторичные индустриализации были подражательными, то есть опирались на проверенное опытом знание о том, что это — путь не только возможный, но имеющий очевидные и несомненные преимущества (хотя копируемый идеал, безусловно, претерпевал самые разнообразные метаморфозы).

Итак, мы никогда не сможем повторить первоначальное событие, которое совершалось людьми, не ведавшими, что они творят, не понимавшими сущности происходящего. Мы не сможем этого сделать по целому ряду веских причин: уже сам факт повторения исключает полное тождество с оригинальным явлением; мы никогда не сумеем полностью воссоздать всю картину жизни Западной Европы в ранний период ее новой истории;

к тому же эксперимент такого масштаба ради решения теоретического вопроса едва ли был бы морально оправдан. Во всяком случае, для того чтобы выявить пружины этого наисложнейшего процесса, потребовался бы не один, а множество дублей, а это явно за пределами наших возможностей.

Но если нам не дано точно установить этиологию индустриализма, мы можем добиться определенных результатов, выдвигая универсальные модели функционирования индустриального общества. Мне кажется, что подлинное достоинство и значение знаменитого эссе Макса Вебера ("Протестанская этика и дух капитализма") [1] заключается прежде всего не в его поражающей воображение, но умозрительной и бездоказательной гипотезе о природе капиталистического духа, а в его размышлениях о тех общих чертах, которые отличают новый социальный строй. Хотя переключение внимания ученых (крайне полезное для дела) с истоков капитализма на истоки индустриализма произошло уже после Вебера и только благодаря возникновению некапиталистических индустриальных обществ, однако Вебер, сосредоточив свой интерес на бюрократии, а также на духе предпринимательства, подошел к этому практически вплотную. Если централизованная бюрократия олицетворяет собой новый Geist * в той же степени, в какой и практичный бизнесмен, со-

* Дух (нем.).

вершенно очевидно, что мы имеем дело скорее с индустриализмом, нежели с капитализмом как таковым.

В веберовской и, я полагаю, в любой серьезной концепции нового духа понятие *рациональности* должно играть центральную и очень важную роль. Сам Вебер не имел большой склонности к четким и емким определениям, особенно в данном случае. Но по контексту употребления им понятия рациональности несложно догадаться, что он под ним подразумевает и насколько оно существенно для всей его теории. Это же понятие исследуется с непревзойденной философской глубиной двумя величайшими философами XVIII века Дэвидом Юмом [2] и Иммануилом Кантом, которые, находясь во власти иллюзии, что они изучают человеческий дух как таковой, *an sich*, существующий всегда и везде, фактически дали основательнейший анализ общих законов бытия нового духа, отметившего своим появлением их век. То, что объединяло этих мыслителей, по крайней мере столь же важно, как и то, что их разделяло.

В веберовском понятии рациональности выделяются два элемента. Один — это последовательность или логичность, одинаковый подход к одинаковым явлениям, упорядоченность, словом, все то, что можно назвать самой душой или честью бюрократа. Другой — это эффективность, трезвый, практичный выбор наиболее подходящих средств для достижения определенных четко сформулированных и очерченных целей; иными

словами — дух идеального предпринимателя. Упорядоченность и эффективность могут рассматриваться как бюрократический и предпринимательский элементы во всеобъемлющем духе разума.

Я сам не считаю, что эти два элемента действительно независимы друг от друга. Понятие эффективности средств-целей предполагает, что заинтересованное лицо всегда одинаково решает одну и ту же проблему, независимо от “привходящих” соображений. Следовательно, эффективность неизбежно подразумевает тождественность подхода. Хотя тождественность подхода далеко не всегда имеет следствием эффективность (и в самом деле, как показывает опыт, бюрократы — особенно предельно честные и добросовестные — часто действуют не слишком эффективно, о чем говорил и Вебер). Тем не менее всякое длительное и неформальное подчинение определенному порядку предполагает использование общепринятого, нейтрального языка для определения как целей, так и явлений, то есть окружения, в котором эти цели должны достигаться. Такой язык, четко определяющий цели и средства, в конце концов позволяет давать действиям такую оценку, которая гарантирует, что четко обозначенные цели достигаются средствами, служащими их максимальной эффективности и ничему более.

В основе двух элементов разумного духа, которые были известны Веберу, лежит нечто более глубокое, то, что досконально исследовали Юм и Кант в блаженной уверенности, что они изучают

человеческий дух вообще, а именно: единая мера вещей, как бы универсальная понятийная база для общей характеристики явлений; и *esprit d'analyse**, провозглашенный и описанный еще Декартом. Оба эти элемента предопределяет разум, в том смысле, который нас здесь интересует, — как загадка современного духа. Под общей или единой понятийной базой я имею в виду, что все явления существуют в едином, непрерывном, логически выстроенном пространстве, что определения этих явлений могут быть соотнесены и, по существу, связаны друг с другом и что таким образом один единственный язык описывает весь мир и является целостной системой. Или, если идти от противного, что нет никаких особых, исключительных явлений или областей, застрахованных от смешения или столкновения с другими и замкнутых в своих собственных, логически выстроенных пространствах. Именно в этом заключалась, конечно, самая поразительная особенность досовременных, дорациональных мировоззрений: в сосуществовании в пределах одного мировоззрения множества не совсем целостных, но связанных иерархически субмиров и в выделении особых, исключительных явлений, имеющих сакральный характер и изъятых из повседневного обихода.

При традиционном социальном строе языки охоты, жатвы, различных обрядов, ратуши, кухни или гарема образуют автономные системы. Сопо-

* Аналитический ум (*фр.*).

ставление терминологий этих несоотносимых сфер, выявление расхождений между ними, попытка их унифицировать — все это было бы нарушением социальных законов или еще хуже — кощунством или святотатством — и не имело бы под собой никакой почвы. Напротив, в нашем обществе принято считать, что все ситуативные употребления языка относятся к единому, неделимому миру и входят в единую целостную систему и что можно с полным основанием связывать их друг с другом. “Связывать во что бы то ни стало” — это понятная и вполне реальная идея. Современные философии знания часто представляют собой выражение и кодификацию этой идеи и стремления, которые в свою очередь не являются философской причудой, но имеют глубокие социальные корни.

Уравнивание и гомогенизация явлений будут неполными, если они не сопровождаются тем, что можно назвать расчленением всего расчленимого, *esprit d'analyse*, разделением всех сложных структур на составные части (даже если это можно сделать только мысленно) и нежеланием признавать готовые наборы понятий. Именно устанавливая связь вещей, традиционные мировоззрения увековечивают себя и все свои предрассудки. Настаивая на разрыве этих связей, мы освобождаемся от них. Эти готовые наборы понятий и ограниченные понятийные пространства являются эквивалентами в сфере идей устойчивых социальных группировок и структур в жизненной

сфере. Так же как унифицированный и стандартизированный, как бы вымеренный одной мерой мир явлений, каким он представлен в философских учениях Юма и Канта, аналогичен миру анонимных и равных объединений людей в огромном обществе. В настоящем исследовании нас больше занимают люди и их группировки, чем идеи, но объединение идей в непрерывные целостные системы связано с перегруппировкой людей во внутренне неустойчивые, культурно неограниченные сообщества.

Индустриальное общество — единственное общество, которое основывает свое существование на непрерывном и неуклонном росте, на рассчитанном и безостановочном совершенствовании. Не удивительно, что это первое общество, породившее идею и идеал прогресса, постоянного движения вперед. Излюбленный способ социального контроля в таком обществе — поголовный подкуп, материальное вознаграждение за отказ от социальной агрессии. Его самая большая слабость — неспособность выдержать даже временное сокращение фонда для такого социального подкупа и пережить утрату законности, которая постигает его, если рог изобилия временно закрывается и поток иссякает. Многие общества и раньше время от времени вводили что-то новое и совершенствовались; иногда даже случалось, что новшества проникали в них не поодиночке, а целыми плегионами. Но совершенствование никогда не было постоянным, и этого никто не ждал. Должно

было произойти нечто исключительное, чтобы такое необычное и замечательное ожидание стало возможным.

И в самом деле произошло нечто из ряда вон выходящее, нечто уникальное. Представление о мире как о гомогенной, подчиняющейся всеобщим законам и представляющей необъятное поле для исследований системе открыло возможность бесконечного комбинирования средств без заранее установленных результатов и границ: ни одна возможность не исключается, и в конечном счете лишь опыт определяет, что представляют из себя вещи и как их следует комбинировать, чтобы достичь желаемого. Это был принципиально новый взгляд. Старые миры были, с одной стороны, каждый в отдельности, вселенными, служащими определенной цели, иерархическими, «значимыми»; и с другой стороны — не совсем целостными, состоящими из субмиров со своим языком и законами, не включенными в единый мировой порядок. Новый мир был, с одной стороны, нравственно нейтральным, а с другой — целостным.

Философия Юма — одна из наиболее важных кодификаций этого представления. Ее самая известная часть — теория причинности, которая вытекает из целостного видения мира и является его важнейшим достижением. То, к чему она в конечном счете сводится, можно сформулировать так: в самой природе вещей нет, по существу, никаких связей. Действительные связи этого мира можно установить, лишь мысленно расчленив все,

что поддается такому расчленению, как бы выделив чистые элементы и проверив на опыте, что с чем сочетается.

Действительно ли мир таков? *Наш* мир — да. Это непеременимое условие, цена «мира бесконечных открытий». Исследование не должно быть стеснено природными связями и отношениями вещей, зафиксированными в тех или иных представлениях или образе жизни. И конечно, юмовская концепция причинности — это не просто превосходный эскиз картины, перед которой стоит свободный и вечный исследователь. Это также объяснение поведения его экономического двойника, современного предпринимателя. Слияние труда, техники, материала и формы, предписанное обычаями, подчиненное социальному порядку и ритму, — не для торговца и фабриканта века разума. Его успехи и прогресс экономики, частью которой он является, зависят от неограниченности выбора средств, только на основании опыта, для достижения какой-либо определенной цели — такой, как максимальное увеличение дохода.

Его предшественнику или даже его еще не окончательно вытесненному современнику-феодалу стоит немалого труда вычленить единственный критерий успеха. Доход для него неотделим от целого ряда привходящих моментов, таких как, например, сохранение престижа в обществе. Адам Смит слишком хорошо видел разницу между горожанином Глазго и, скажем,

Камероном из Лохиеля [3]. Юмовская теория причинности отражает мировосприятие первого.

Этот взгляд на общество, оказавшееся в зависимости от научного и экономического прогресса (безусловно связанных друг с другом), привлек наше внимание потому, что нас прежде всего интересуют последствия этого безостановочного прогресса, этого непрерывного роста. А последствия этого роста поразительно перекликаются с мировоззрением, которое лежало в его основе.

ОБЩЕСТВО НЕУКЛОННОГО РОСТА

Если предпосылкой научного прогресса является убеждение, что ни один элемент не связан заведомо нерасторжимыми узами с другими элементами и что все поддается переоценке, значит, экономический и технический прогресс требует такого же пересмотра человеческой деятельности и, следовательно, человеческих ролей. Роли становятся незакрепленными и активными. Прежняя стабильность структуры просто несовместима с ростом и обновлением. Обновление означает производство новых вещей, границы которого не совпадают с границами вытесненных им видов деятельности. Нет сомнения, что в большинстве обществ могут иметь место отдельные случаи смещения профессиональных и производственных границ, так же как в футбольной команде могут делаться перестановки, не нарушающие ее целост-

ности. Одна переменна не делает прогресса. Но что произойдет, когда такие перемены станут постоянными и непрерывными, когда настойчивая необходимость смены занятий станет неотъемлемой чертой социального строя?

Когда мы сумеем ответить на этот вопрос, проблема национализма, по существу, будет решена. Корни национализма — в *определенном типе* разделения труда, очень сложном и к тому же бесконечно, беспредельно изменчивом.

Высокая производительность требует, что особенно подчеркивал Адам Смит [4], сложного и очень детального разделения труда. Постоянно растущая производительность требует, чтобы это разделение было не только сложным, но также постоянно и часто очень быстро меняющимся. Эта быстрая и непрерывная смена как всей системы экономических ролей, так и позиций внутри нее определенно приводит к немедленным и чрезвычайно важным последствиям. Люди, существующие в этой системе, обычно не имеют возможности сидеть на одних и тех же нагретых местечках всю свою жизнь и лишь в редких случаях могут оставаться на них из поколения в поколение. Должности редко (по той или иной причине) переходят от отца к сыну. Адам Смит подметил превратность человеческих судеб в буржуазном обществе, хотя он ошибочно приписал стабильность социального статуса скотоводам, принимая их родовые предания за действительность.

Непосредственным следствием этого нового

вида мобильности становится своеобразный эгалитаризм. Современное общество мобильно, потому что оно эгалитарно; оно эгалитарно, потому что мобильно. Более того, оно должно быть мобильным, желает того или нет, потому что этого требует удовлетворение страшной, непреодолимой жажды экономического роста.

Общество, которому предназначено судьбой без конца играть в музыкальные стулья, не может возводить высоких барьеров чина, касты или условия между различными рядами имеющихся в его распоряжении стульев. Это затруднило бы движение и, не приостановив его совсем, только создало бы невыносимую ситуацию. Человек может терпеть чудовищное неравенство, если оно утверждено и освящено законом. Катящийся камень не обрастает паутиной, и мобильное общество не позволяет опутать паутиной собственное расслоение. Расслоение и неравенство продолжают существовать, и иногда в крайних формах. Тем не менее они приглушены, затушеваны и как бы смягчены плавностью переходов от ступени к ступени, благосостояния и положения, отсутствием социальной дистанции и конвергенцией жизненных стилей, своего рода незапланированностью или случайным характером различий (в противоположность жестким, абсолютизированным, непреодолимым различиям, характерным для аграрного общества) и иллюзией или реальностью социальной мобильности.

Эта иллюзия обязательна, и она не может под-

держиваться, если в ней нет хотя бы доли реальности. Какая доля реальности стоит за этой видимостью движения вверх и вниз, зависит от разных обстоятельств, и на этот счет нет единого мнения. Но не может быть сомнений в том, что эта доля довольно значительна. Когда так сильно меняется сама система ролей, исполнители этих ролей уже не могут, как утверждают левые социологи, быть связаны с жесткой сословной системой. В сравнении с аграрным обществом новое общество мобильно и эгалитарно.

Но дело не только в эгалитаризме и мобильности, порожденных отчетливо индустриальной, ориентированной на рост экономикой. Есть и другие, не столь явные особенности нового разделения труда, которые нагляднее всего выступают в сравнении разделения труда в индустриальном обществе и в очень сложном, высокоразвитом аграрном. *Очевидная* разница между этими обществами состоит в том, что одно более стабильно, а другое более мобильно. Фактически одному удобнее быть стабильным, другому — мобильным; одно претендует на то, чтобы быть более стабильным, чем позволяет социальная реальность, в то время как другое требует большей подвижности под предлогом претворения в жизнь своего идеала всеобщего равенства, чем позволяют сохраняющиеся в нем барьеры. Хотя обе системы склонны преувеличивать свои главные качества, тем не менее при их сравнении видно, что они на самом деле обладают теми свойствами,

которые они себе приписывают: одно устойчиво, другое мобильно. Но если это очевидный контраст, то каковы те менее явные черты, которые ему сопутствуют?

Сравним детально разделение труда в высоко-развитом аграрном обществе и в индустриальном обществе среднего уровня. Сейчас, например, с каждым видом деятельности связан по крайней мере один определенный специалист. Механики машин специализируются на обслуживании какой-нибудь одной модели. Индустриальное общество имеет большее население и, возможно, по самому приблизительному подсчету, большее число профессий. В этом смысле разделение проникло в него гораздо глубже.

Но если руководствоваться иными критериями, то можно прийти к выводу, что всесторонне развитое аграрное общество обладает более сложной структурой разделения труда. Специализированные зоны внутри него гораздо больше удалены друг от друга, чем многочисленные специализированные зоны индустриального общества, имеющие тенденцию к взаимному сближению. Специализация в зрелом аграрном обществе иногда может быть доведена до предела: она может быть плодом продолжающихся всю жизнь, очень упорных и сосредоточенных занятий, возможно начинающихся в ранней юности и требующих полной отрешенности от всех прочих забот. Произведения ремесла и искусства в этих обществах являются результатом кропотливейшего

труда и высочайшего мастерства и часто достигают такого уровня виртуозности и совершенства, к которому всем позднейшим достижениям индустриального общества не удалось даже приблизиться, настолько примитивны их прикладные искусства и архитектура, кулинарное искусство, орудия труда и украшения.

Несмотря на бессмысленность и бесплодность схоластических и ритуальных премудростей, которыми овладевают ученые сословия развитого аграрного общества, они часто кажутся почти недоступными уму. Короче говоря, если крестьяне, которые составляют подавляющее большинство аграрного общества, более или менее взаимозаменяемы, когда речь идет о выполнении ими их изначальных социальных функций, то играющее важную роль меньшинство специалистов в таких обществах четко разбито на взаимодополняющие группы. Каждая из них, занимаясь только своим узким, специальным делом, зависит от других и совершенно неспособна к самостоятельности.

Интересно, что в индустриальном обществе, напротив, несмотря на большее количество специализированных зон, дистанция между специалистами гораздо менее значительна. Их секреты намного доступнее общему пониманию, их терминология часто имеет более широкое применение, и переквалификация является хотя иногда и трудным, но все же не непосильным делом.

Так что совершенно независимо от наличия мобильности в одном случае и стабильности — в

другом существуют не столь явные, но глубокие и важные качественные различия в самом разделении труда. Дюркгейм [5] заблуждался, когда он фактически подвел развитые доиндустриальные цивилизации и индустриальное общество под одно понятие «органической солидарности», не обратив должного внимания на те отличия, которые существуют внутри этой общей категории органической солидарности или взаимодополняющего разделения труда.

Разница заключается в следующем: основная часть обучения в индустриальном обществе — это *типовое* обучение, никак не связанное с высокоспециализированной профессиональной деятельностью индивида и *предшествующее* ей. Индустриальное общество может быть по большинству критериев самым высокоспециализированным из когда-либо существовавших обществ, но его образовательная система, бесспорно, *наименее* специализированная, наиболее унифицированная из всех. Одинаковое образование дается всем или большинству детей и подростков до чрезвычайно позднего возраста. Специализированные учебные заведения имеют высокий престиж только тогда, когда они являются последним этапом общеобразовательного процесса, как бы увенчивая длительное предварительное неспециализированное обучение. Специализированные школы, предназначенные для более юных, считаются непрестижными.

Что это, парадокс или один из случайных пере-

житков раннего периода? Те, кто обращал внимание на элемент «джентльменства», элитарности в высшем образовании, иногда высказывали такое предположение. Но хотя некоторые из атрибутов и аксессуаров высшего образования действительно нелепы и отжили свой век, главное — распространенность и важность типового неспециализированного обучения — является не парадоксом высокоспециализированного индустриального общества, а чем-то совершенно органичным и необходимым. Тот вид специализации, который мы находим в индустриальном обществе, держится именно на общем фундаменте неспециализированного и стандартизированного обучения.

В современной армии новобранцы сначала проходят единую общевойсковую подготовку, в процессе которой они должны узнать и освоить основную терминологию, ритуалы и приемы, общие для всей армии в целом, и только вслед за этим они проходят более специализированное обучение. Считается или предполагается, что всякий хорошо обученный новобранец может получить новую специальность без слишком большой затраты времени, за исключением сравнительно малого числа очень высококвалифицированных специалистов.

Современное общество в этом отношении напоминает и даже превосходит современную армию. Оно обеспечивает своим новобранцам очень длительную и основательную подготовку, обяза-

тельно включающую овладение определенными необходимыми для всех областями знания: грамотой, счетом, основными навыками работы и общежития. Для огромного большинства населения специальные навыки, необходимые в работе, накладываются на основные знания либо в процессе самой работы, либо в результате гораздо менее длительного дополнительного обучения. Предполагается, что всякий, кто получил типовое образование, общее для всего населения, может без большого труда овладеть основным набором профессий.

В конечном итоге необходимые дополнительные навыки складываются из нескольких технических приемов (которые могут быть освоены очень быстро) и «опыта», то есть знакомства со средой, персоналом и техническим процессом. Иногда на то, чтобы проникнуть сквозь некий ореол профессиональной тайны, уходит сколько-то времени, но обычно не слишком много. При этом существует очень небольшое число истинных специалистов — людей, чья эффективная деятельность на их местах действительно зависит от очень длительного дополнительного обучения и которых непросто или невозможно заменить кем-либо, не имеющим той же специальной образовательной базы и таланта.

Идеал всеобщей грамотности и право на образование занимают одно из самых видных мест в пантеоне современных ценностей. О нем с уважением говорят государственные и политические

деятели, он увековечен в декларациях прав, конституциях, партийных программах. В этом нет ничего необычного. То же самое можно сказать о представительных и подотчетных правительствах, свободных выборах, независимом суде, свободе слова и собраний. Многие или большинство из этих замечательных ценностей постоянно и совершенно беззастенчиво игнорируются во многих частях мира. Очень часто они остаются лишь красивыми словами. Многие конституции, гарантирующие свободу слова и выборов, настолько же мало сообщают об обществе, которое они якобы определяют, как человек, говорящий «доброе утро», сообщает о погоде. Все это хорошо известно.

Любопытно и очень знаменательно то, что принцип всеобщего и гарантированного властью образования — это идеал, который больше почитается, когда он претворен в жизнь, нежели когда он попран. В этом смысле он занимает особое место среди современных идеалов, и это требует объяснения. Профессор Рональд Дор яростно критиковал тенденцию *, особенно в развивающихся странах, переоценки формальных, «бумажных» удостоверений, бесспорно имеющую вредные стороны. Но я не уверен, что он до конца понимает, насколько глубоки корни того, что он на-

* Dore Ronald. The Diploma Disease. London, 1976. По поводу социальной подоплеки грамотности на раннем этапе см.: Goody Jack (ed.). Literacy in Traditional Societies. Cambridge, 1968.

зывает Дипломной Болезнью. В нашем мире мы не можем больше доверять неофициальной, прямой передаче опыта, потому что социальные структуры, внутри которых такая передача возможна, отмирают. Поэтому единственное знание, которое может иметь для нас цену,— это знание, засвидетельствованное по возможности беспристрастными центрами обучения, выдающими удостоверения на основании честных, непредвзятых экзаменов. Поэтому мы обречены страдать Дипломной Болезнью.

Из этого можно сделать вывод, что описанный вид обучения — всеобщий, стандартизированный и типовой — *действительно* играет исключительно важную роль в эффективном функционировании современного общества, а не просто роль лозунга или саморекламы. Это на самом деле так. Чтобы понять, что это за роль, мы должны, заимствуя выражение Маркса (хотя не совсем в том смысле, в каком он его употребил), рассмотреть не только способ производства в современном обществе, но прежде всего его способ *воспроизводства*.

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕНЕТИКА

Воспроизводство социальных индивидов или групп может осуществляться либо способом передачи из рук в руки, то есть практически, либо способом, который можно назвать централизованным. Существует, конечно, множество смешанных и

промежуточных способов достижения этой цели. Но их обсуждение лучше отложить до тех пор, пока не будут рассмотрены две крайние, можно сказать, полярные возможности.

Метод передачи из рук в руки, или практический метод, имеет место, когда семья, род, деревня, племенная община или подобное им небольшое сообщество берет родившихся в нем детей и, допуская и принуждая их к участию в общинной жизни, а также пользуясь более специальными приемами воспитания, выработанными веками, такими, как объяснения, практические занятия, наставления, и т.д., в конце концов превращает детей во взрослых, насколько возможно похожих на взрослых предыдущего поколения. Таким образом, общество и культура воспроизводят себя.

Централизованным можно назвать такой способ воспроизводства, когда обучение на местах в значительной мере дополняется (или в крайних случаях полностью заменяется) образованием или обучением в специальном учреждении, независимом от местных общин. Именно эти учреждения берут на себя подготовку данных молодых людей и в конце концов возвращают их более широкому обществу с тем, чтобы они выполняли в нем предназначенные им роли, когда процесс обучения завершен. Эта система в ее абсолютной форме достигла высокой степени совершенства и эффективности в Османской империи при подготовке янычар [6], когда мальчики, взятые в виде дани у покоренного населения или куплен-

ные в качестве рабов, целенаправленно готовились для военной и административной деятельности и были полностью оторваны от своих семей и родных общин. В такой же системе, только не столь строгой, воспитывались и частично продолжают воспитываться представители британского высшего класса, отдающие предпочтение закрытым частным школам с раннего возраста. Разновидности этой системы можно иногда обнаружить в сравнительно простых, дописьменных аграрных обществах.

Общества, состоящие из более мелких общин, можно подразделить на те, где эти общины в состоянии, если это необходимо, воспроизводить себя без помощи остальной системы в целом, и те, где взаимодополняемость и взаимозависимость таковы, что они на это не способны. В целом сегменты и сельские общины аграрного общества *в состоянии* воспроизводить себя самостоятельно. Сущность антропологического понятия сегментного общества заключается в следующем. Сегмент — это просто уменьшенный вариант большого общества, частью которого он является, и в нем происходит в меньшем масштабе все то, что происходит в обществе в целом.

Кроме того, нужно различать экономическую и социальную самостоятельность в смысле способности к самовоспроизводству. Правящий слой аграрного общества, конечно, живет излишками, отбираемыми у остальной части населения. Тем не менее в сфере образования он может быть со-

вершенно независимым. Многие другие виды не-самостоятельности обусловлены социальными законами, например, такими, которые ставят общины в зависимость от приглашаемых извне служителей культа или предписывают выбирать невесту на стороне. Здесь мы имеем дело с культурной, а не экономической способностью к групповому воспроизводству. Существует множество сложных, смешанных и промежуточных форм группового воспроизводства. Когда феодальные лорды посылают своих сыновей наполовину учениками, наполовину заложниками к местному двору, когда мастера принимают учеников, не являющихся их сыновьями, мы явно имеем дело с такими смешанными системами.

В общих чертах ситуация в аграрном обществе представляется следующей. Огромное большинство населения принадлежит к самовоспроизводящимся сообществам, которые фактически обучают свою молодежь на практике, между делом, без отрыва от своего повседневного труда, почти или совсем не полагаясь на каких-либо учителей. Меньшинство населения получает специальное образование. В таком обществе бывает один или несколько слоев постоянных наставников, которые и воспроизводят себя, воспитывая учеников, и по мере надобности оказывают услуги остальным членам сообщества: культовые, врачебные, наставнические, писарские и т. д. Важно разделять это практическое, внутриобщинное обучение, которое можно назвать аккультурацией, и специали-

зированное *экзообучение* (по аналогии с экзогамией) [7], требующее особых навыков, которое можно назвать собственно образованием.

Очень важным сословием в грамотном аграрном обществе являются писцы, которые могут читать и передавать грамотность и которые, таким образом, образуют один из классов специалистов в этом обществе. Они могут состоять или не состоять в гильдии, быть организованы или не организованы. Поскольку письмо очень рано выходит за рамки чисто технической фиксации фактов и приобретает моральное или теологическое значение, грамотные, или ученые, люди обычно являются чем-то гораздо большим, чем просто специалистами по правописанию. Важно не только само письмо, но то, что написано, а в аграрном обществе в сфере письменности религиозное значительно преобладает над мирским. Так что пишущие и читающие являются специалистами и даже более чем специалистами; и те и другие — часть общества и претендуют на то, чтобы быть выразителями его идей. Их специализация о чем-то *говорит* и говорит больше, чем специализация резчиков по дереву или других подобных умельцев, и гораздо больше, чем специализация медников.

В обществе такого типа к специалистам часто относятся с опаской и презрением. Отношение к грамотным людям может быть двойственным, но в основном их социальный статус довольно высок. Они одновременно и специалисты и, как

все люди, часть общества, к тому же они претендуют на то, чтобы быть выразителями общественного мнения. Их положение по самой своей сути парадоксально. Логика имеет в своем арсенале набор задач, считающихся наиболее глубокими и значимыми, например Проблему Брадобреев. Всех жителей деревни можно разделить на тех, кто бреет, и тех, кого бреют. Но как же сам брадобрей? Является ли он бреющим брадобреем или бреемым брадобреем? В таком виде оставим решение этой задачи логикам. Но ученые люди отчасти находятся в положении брадобреев. Они воспроизводят свою собственную гильдию, обучая новичков, но также дают кое-какие наставления и оказывают услуги остальной части общества. Бреют они себя сами или нет? В связи с этим двусмысленным положением возникают проблемы (не только логические), которые непорочно разрешить.

В конце концов, современное общество решает эту головоломку, делая учеными *всех*, превращая этот потенциально всеобъемлющий класс в действительно всеобъемлющий, гарантируя, что все, без исключения, будут им выучены, что экзотическое образование станет универсальной нормой и что никто, в культурном смысле, не будет брить себя сам. В наше время ни одно сообщество, если его размеры не позволяют содержать самостоятельную образовательную систему, не может больше воспроизводить себя. Воспроизводство индивидов, полностью подготовленных к деятельной жизни,

само по себе становится разновидностью разделения труда и больше не осуществляется независимо от всего общества.

Вот каковы развитые современные общества. Но почему это *должно* быть так? Что за судьба подталкивает их в этом направлении? Почему, повторяя прежний вопрос, именно этот идеал всеобщей грамотности и образования воспринимается с такой необычной, нетипичной серьезностью?

Частично на этот вопрос был дан ответ, когда обращалось внимание на профессиональную подвижность, на нестабильность и изменчивость разделения труда. Общество, чья политическая и, по существу, космогоническая и нравственная системы основываются на экономическом прогрессе, на росте универсального “подкупного” фонда и на ожидании все большего удовлетворения потребностей, общество, чья законность зависит от способности поддерживать и оправдывать эти надежды, обречено тем самым на постоянное обновление, а значит, на подвижную профессиональную структуру. Из этого следует, что обязательно в каждом новом поколении и очень часто в течение одной жизни люди должны быть готовы к изменению рода деятельности. Этим отчасти объясняется важность типового обучения и тот факт, что малая толика дополнительных знаний, необходимых для овладения большинством профессий, не играет существенной роли и, более того, содержится в учебниках, доступных понима-

нию всякого, получившего общественное типовое образование. В то время как эти дополнительные знания чаще всего бывают довольно элементарны, общее и действительно необходимое типовое образование находится на достаточно высоком уровне, возможно, не в сравнении с интеллектуальными *вершинами* аграрного общества, но, безусловно, в сравнении с его обычным средним уровнем.

Но дело не только в подвижности и смене профессий, а также в *содержании* большинства профессиональных занятий. Работа в индустриальном обществе не эквивалентна процессу перемещения материи. Пахота, жатва, молотьба уже не являются типичными видами труда. Работа в основном заключается в манипулировании не вещами, а значениями. Обычно она включает обмен информацией с другими людьми и управление машинами. Процент людей, которые на лоне природы прикладывают собственную физическую силу к естественным объектам, постоянно уменьшается. Большинство профессий предполагает если не непосредственную работу «с людьми», то управление кнопками, включателями и рычагами, которые требуют *понимания* и опять же объясняются с помощью стандартного языка, доступного каждому новичку.

Впервые в истории человечества ясный и достаточно точный язык становится обычным, распространенным и необходимым средством общения. В замкнутых локальных сообществах аграрных

и племенных миров, когда дело доходило до общения, всё определяли контекст, интонация, жест, характер и ситуация. Общение тогда не требовало точности выражения, к которой местные жители не имели ни вкуса, ни склонности. Четкость и стройность точных, правильных формулировок была прерогативой законников, теологов и служителей культа и частью их профессиональной тайны. В тесном кругу близких людей она была бы неестественной и оскорбительной и едва ли даже возможной и понятной.

Человеческий язык, по всей видимости, воспроизводился в таких тесных, замкнутых, живущих узкими интересами сообществах в течение бесчисленного множества поколений, в то время как им лишь сравнительно недавно стали пользоваться учителя, юристы и всякого рода абстрактно мыслящие пуристы. Загадкой остается тот факт, что в сложившейся системе оказались заложены такие возможности, которые позволили использовать ее как «сложный код», по выражению Бэзила Бернстайна [8], как формальный и совершенно независимый от контекста инструмент, если учесть, что она развивалась в среде, которая никак не располагала к такому развитию и не слишком его поощряла. Эта загадка сродни такой проблеме, как появление талантов (например, математических), которые на протяжении большего периода существования человечества не были нужны для выживания и поэтому не могли быть непосредственным результатом естественного отбора.

Появление языка, пригодного для формального, освобожденного от контекста употребления,— такая же загадка. Но тем не менее факт остается фактом. Потенциальная возможность этого, чем бы она ни объяснялась, всегда существовала. В конце концов возникает такой тип общества — а теперь он становится универсальным,— в котором эта потенциальная возможность реализуется и где такой язык становится обязательным и господствующим.

Итак, подведем итоги. Со временем появилось общество, основанное на сверхмощной технологии и перспективе непрерывного роста, которое требует подвижной системы разделения труда и постоянного, частого и четкого общения между малознакомыми людьми, подразумевающего обмен точной информацией, передаваемой на стандартном языке или, когда требуется, на письме. По целому ряду причин это общество должно быть полностью экзобразованным: каждый индивид обучается специалистом, а не только своей локальной группой, если она у него вообще имеется. Отдельные его сегменты и секции — а индустриальное общество всегда большое, изменчивое и по сравнению с традиционными аграрными обществами отличается очень упрощенной внутренней структурой — просто не имеют ни возможностей, ни ресурсов воспроизводить свой состав. Средний уровень грамотности и технической компетентности, ставший стандартным, общая понятийная база, которую необходимо иметь членам

этого общества, чтобы они нашли себе применение и могли чувствовать себя полноправными и действительными его представителями, настолько выросли, что их просто *не в состоянии* обеспечить семейные или локальные группы в их настоящем виде. Их может обеспечить только лишь нечто подобное современной «национальной» образовательной системе, представляющей собой пирамиду, в основании которой находятся начальные школы, укомплектованные учителями, обученными в средних школах, укомплектованных учителями с университетским образованием, полученным под руководством воспитанников аспирантур. Такая пирамида является критерием для определения минимального размера жизнеспособной политической единицы. Ни одна политическая единица, слишком маленькая, чтобы содержать эту пирамиду, не может функционировать самостоятельно, не может существовать. Это и есть критерий ее минимального размера. В некоторых случаях действуют законы, не позволяющие политическим единицам слишком разрастаться; но это особая проблема.

Тот факт, что мелкие объединения в большом обществе больше не способны к самовоспроизводству, что централизованное экзосообразование стало обязательной нормой, что это образование дополняет, хотя и не полностью заменяет локализованную аккультурацию (т. е. эндообразование), является фактом первостепенной важности для политической социологии современного мира. Но

это его значение, как ни странно, часто недопонимается, недооценивается и даже не изучается. У основания современного социального строя стоит не палач, а профессор. Не гильотина, а государственная докторская степень является основным инструментом и символом современной государственной власти. Монополия на законное образование сейчас важнее и существеннее, чем монополия на законное насилие. Когда это будет понято, тогда будет понята и неизбежность национализма, его укорененность не в человеческой природе как таковой, а в определенном типе социального устройства, ставшего теперь основным.

Вопреки убеждению людей и даже специалистов национализм не имеет глубоких корней в человеческом сознании. Можно предположить, что человеческое сознание оставалось неизменным на протяжении многих тысячелетий существования человеческой расы и не стало ни лучше, ни хуже за сравнительно короткий, совсем недавно наступивший век национализма. Нельзя обращаться к *общему* субстрату для объяснения *специфического* явления. Субстрат имеет множество внешних проявлений. Национализм, организация человеческих групп в большие, централизованно обученные, культурно однородные сообщества — лишь одно из них, и при этом совершенно особое. Чтобы правильно его понять, нужно прежде всего определить его специфические корни. Только эти специфические корни могут его объяснить. Таким образом,

специфические факторы накладываются на единый общечеловеческий субстрат.

Национализм очень глубоко уходит корнями в своеобразные структурные требования индустриального общества. Это движение не является плодом идеологической аберрации или эмоциональной невозддержанности. Хотя почти все, кто принимает в нем участие, обычно не понимают сути того, что они делают, тем не менее это движение является внешним проявлением глубинного процесса урегулирования отношений между государством и культурой, которое совершенно неизбежно.

ВЕК ВСЕОБЩЕЙ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

Давайте еще раз перечислим общие и основные черты индустриального общества. Всеобщая грамотность и высокий уровень цифрового, технического и общего знания — необходимое условие его функционирования. Его члены должны быть мобильными, готовыми переключиться с одной деятельности на другую и должны получать типовое образование, которое позволяет им пользоваться пособиями и инструкциями для овладения новой специальностью или профессией. В процессе работы они должны контактировать с большим числом других людей, с которыми они раньше не имели никаких отношений и общение с которыми, следовательно, должно быть предельно четким, не опирающимся на контекст. Они также

должны быть способны общаться с помощью письменных, безличных, свободных от контекста, ни к кому определенному не обращенных типовых посланий. Поэтому средством этого общения должен быть единый, общий для всех, стандартизированный устный и письменный язык. Образовательная система, которая гарантирует это социальное достижение, становится очень большой и является обязательной, но в то же время она больше не владеет монополией на доступ к письменному слову: ее клиентура совпадает со всем обществом, и заменяемость индивидов внутри системы относится к образовательной машине по крайней мере в той же степени, в какой она относится к любому другому сегменту общества, если даже не в большей. Отдельные великие педагоги и исследователи, возможно, могут быть уникальными и незаменимыми. Но средний университетский профессор или учитель может быть заменен человеком преподавательской профессии с необычайной легкостью и без большого или вообще без всякого ущерба для дела.

Какое это все имеет значение для общества и для его членов? Возможность получить работу, достоинство, уверенность и самоуважение человека для большинства людей обычно зависят от *образования*; и границы культуры, в которой они воспитывались, являются также границами мира, в котором они могут, морально и профессионально, дышать. Образование человека — это его самый ценный капитал, и в конечном счете оно

определяет его личность. Современный человек предан не монарху, стране или вере, что бы он сам ни говорил, но культуре. И он, по сути дела, «оскоплен». Состояние «мамлюков» становится всеобщим. У него нет никаких важных связей с его родом, и они не стоят между ним и широкой, безличной культурной общностью.

В дополнение к тому что только передаваемая школой, а не народом культура определяет полезность, достоинство и самоуважение современного человека, ничто больше не может в этом смысле хоть сколько-нибудь с ней соперничать. Было бы бессмысленно утверждать, что происхождение, состояние или связи не играют никакой роли в современном обществе и что они не являются порой даже предметом гордости их обладателей. Тем не менее привилегии, приобретенные с их помощью, чаще всего не афишируются, и отношение к ним в лучшем случае неоднозначное. Привело ли к этому распространение рабочей этики или, напротив, она сама является отражением сложившейся ситуации? Нахлебники и рантье, конечно, продолжают существовать, но они не очень бросаются в глаза, а это само по себе весьма знаменательно. Важно, что сохранившиеся привилегии и праздность в наше время не столь беззастенчивы, предпочитают безвестность внешнему блеску и могут быть замечены только дотошным исследователем, поставившим себе цель разоблачить скрытое неравенство.

Не так было в прошлом, когда праздность бы-

ла спесива и бесстыдна, и такой она остается в некоторых еще существующих аграрных обществах или в обществах, которые продолжают сохранять облик доиндустриальных. Как это ни странно, понятие неприкрытого расточительства было введено воспитанным для труда членом живущего трудом общества Торстейном Вебленом [9], возмущенным тем, что он считал пережитками доиндустриального, хищнического века. Эгалитарная, делающая ставку на труд и карьеру внешность индустриального общества так же существенна, как и ее неэгалитарные скрытые глубины. В конце концов, основная жизнь идет на поверхности, даже если важные решения иногда принимаются глубоко внизу.

Сословие учителей теперь в каком-то смысле стало еще более важным, чем раньше (оно необходимо!), а в каком-то — менее важным, так как оно утратило монополию на доступ к культурным ценностям, воплощенным в письме. В обществе, где каждый отождествлен со своей должностью и образованием и тем самым «оскоплен» и где едва ли кто-нибудь может извлечь большую или вообще какую-нибудь выгоду из своих родственных связей, обучающие ученые уже не обладают исключительным правом на доступ к административным постам. Когда каждый стал «мамлюком», никакое особое сословие мамлюков не преобладает в бюрократическом аппарате. Наконец-то бюрократия получила возможность пополнять свои ряды представителями всех слоев обще-

ства, не опасаясь появления дюжины кузенов как принудительного доведка к каждому вступающему в должность.

Экзосоциализация, то есть собственно образование, теперь действительно становится универсальной нормой. Люди приобретают навыки и познания, делающие их пригодными для общежития, готовыми занять определенное положение в обществе, то есть тем, «что они есть» только в том случае, если их кланы (в наше время это, конечно, обычные семьи) отдают их на попечение образовательной машины, которая одна в состоянии обеспечить многостороннее обучение, необходимое для создания общей культурной базы. Этот образовательный механизм очень объемен, обязателен и дорогостоящ. Его содержание оказывается совершенно не по средствам даже самым большим и богатым организациям внутри общества, таким, как крупные промышленные корпорации. Они часто предоставляют своим сотрудникам жилье, спортивные клубы и клубы отдыха, но они, за редкими исключениями, не дают образования (они могут оплачивать школьные счета, но это к делу не относится). Сотрудник работает и отдыхает со своей организацией, но его дети все равно посещают государственные или частные школы.

Итак, с одной стороны, этот образовательный механизм слишком объемен и дорогостоящ для всякой организации, кроме самой большой — государства. Но помимо того, что только госу-

дарство может взять на себя такую большую ношу, опять же только государству по силам осуществлять контроль за такой важной и необходимой функцией. Культура — больше не просто украшение, утверждение и узаконивание социального порядка, который поддерживается и более жесткими, насильственными методами. Культура теперь — это необходимая общая среда, источник жизненной силы или скорее минимальная общая атмосфера, только внутри которой члены общества могут дышать, жить и творить. Для данного общества это должна быть атмосфера, в которой все его члены могут дышать, говорить и творить; значит, это должна быть *единая* культура. Более того, теперь это должна быть великая или высокая (обладающая своей письменностью, основанная на образовании) культура, а не разобщенные, ограниченные, бесписьменные малые культуры или традиции.

Но какой-то организм должен осуществлять контроль за тем, чтобы эта письменная, унифицированная культура воспроизводилась действительно эффективно, чтобы образовательная продукция не была низкого качества и отвечала стандарту. Только государство в состоянии это делать, и даже в странах, где важные звенья образовательной машины находятся в частных руках или в руках религиозных организаций, государство следит за качеством в этой самой важной из отраслей — производстве жизнеспособных и полезных членов общества. Централизованная цер-

ства, не опасаясь появления дюжины кузенов как принудительного доведка к каждому вступающему в должность.

Экзосоциализация, то есть собственно образование, теперь действительно становится универсальной нормой. Люди приобретают навыки и познания, делающие их пригодными для общежития, готовыми занять определенное положение в обществе, то есть тем, «что они есть» только в том случае, если их кланы (в наше время это, конечно, обычные семьи) отдают их на попечение образовательной машины, которая одна в состоянии обеспечить многостороннее обучение, необходимое для создания общей культурной базы. Этот образовательный механизм очень объемен, обязателен и дорогостоящ. Его содержание оказывается совершенно не по средствам даже самым большим и богатым организациям внутри общества, таким, как крупные промышленные корпорации. Они часто предоставляют своим сотрудникам жилье, спортивные клубы и клубы отдыха, но они, за редкими исключениями, не дают образования (они могут оплачивать школьные счета, но это к делу не относится). Сотрудник работает и отдыхает со своей организацией, но его дети все равно посещают государственные или частные школы.

Итак, с одной стороны, этот образовательный механизм слишком объемен и дорогостоящ для всякой организации, кроме самой большой — государства. Но помимо того, что только госу-

дарство может взять на себя такую большую ношу, опять же только государству по силам осуществлять контроль за такой важной и необходимой функцией. Культура — больше не просто украшение, утверждение и узаконивание социального порядка, который поддерживается и более жесткими, насильственными методами. Культура теперь — это необходимая общая среда, источник жизненной силы или скорее минимальная общая атмосфера, только внутри которой члены общества могут дышать, жить и творить. Для данного общества это должна быть атмосфера, в которой все его члены могут дышать, говорить и творить; значит, это должна быть *единая* культура. Более того, теперь это должна быть великая или высокая (обладающая своей письменностью, основанная на образовании) культура, а не разобщенные, ограниченные, бесписьменные малые культуры или традиции.

Но какой-то организм должен осуществлять контроль за тем, чтобы эта письменная, унифицированная культура воспроизводилась действительно эффективно, чтобы образовательная продукция не была низкого качества и отвечала стандарту. Только государство в состоянии это делать, и даже в странах, где важные звенья образовательной машины находятся в частных руках или в руках религиозных организаций, государство следит за качеством в этой самой важной из отраслей — производстве жизнеспособных и полезных членов общества. Централизованная цер-

ковь, фактически игравшая роль теневого государства в ту эпоху, когда европейские государства были не только раздроблены, но социально слабы, вела борьбу за контроль над образованием, но эта борьба не имела успеха, если церковь не действовала от лица всеобъемлющей высокой культуры и тем самым косвенно — в пользу нового национального государства.

Раньше образование было домашним делом, и человека воспитывали деревня или клан. Это время ушло, и ушло навсегда. В образовании малое теперь может быть прекрасным, только если оно незаметно опирается на большое. Экзосоциализация, производство и воспроизводство людей вне тесных локальных групп, теперь является нормой и должны ею быть. Обязательность экзосоциализации — это основной ключ к решению вопроса, почему государство и культура теперь должны быть связаны, тогда как раньше их связь была слабой, случайной, неоднозначной, неопределенной и чаще всего минимальной. Теперь она неизбежна. Вот в чем суть национализма, и вот почему мы живем в век национализма.

в аграрном обществе гораздо многообразнее, чем ее государства, и обычно гораздо шире, чем входящие в государство мелкие сообщества.

При таких условиях, согласно нашей теории, век перехода к индустриализму неизбежно становится веком национализма, то есть периодом бурного переустройства, когда либо политические границы, либо культурные, либо и те и другие вместе должны меняться, чтобы удовлетворять новому националистическому требованию, которое впервые заявляет о себе. Поскольку правительства неохотно расстаются со своей территорией (а каждое изменение политических границ кому-то наносит ущерб), поскольку смена культуры чаще всего воспринимается очень болезненно и поскольку, кроме того, существуют враждебные культуры, борющиеся за души людей, так же как существуют враждебные центры политической власти, стремящиеся подкупать людей и завоевывать новые территории, то из нашей теории следует, что этот переходный период должен быть острым и конфликтным. Реальные исторические факты полностью подтверждают это предположение.

Тем не менее было бы неверно сосредоточивать внимание только на том влиянии, которое оказало на аграрное общество проведение в жизнь националистического принципа. Индустриальное общество вышло на историческую арену не по маговению волшебной палочки. Оно само возникло в результате перестройки, происшедшей внутри

одного из аграрных обществ и протекавшей отнюдь не безболезненно. Когда же оно стало завоевывать весь мир, то ни эта глобальная колонизация, ни утрата господствующих позиций теми, кто сначала вознесся на волне индустриального превосходства, а затем лишился своего первенства, не совершались мирным путем. Все это свидетельствует о том, что в реальной истории последствия национализма обычно смешиваются с последствиями индустриализации. Хотя национализм действительно является продуктом индустриальной организации общества, но это не *единственное* последствие внедрения новой социальной формы, и поэтому необходимо выделять его из целого ряда родственных явлений.

Для иллюстрации этой проблемы можно провести интересную параллель между Реформацией и национализмом. Упор, который идеологи Реформации делали на грамотность и неукоснительное следование Священному Писанию как единственному источнику религиозной истины, их нападки на монополистическое духовенство (требование, как верно подметил Вебер, скорее его универсализации, нежели упразднения), их индивидуализм и связь с мобильным городским населением являются своеобразным предвестием тех социальных черт и настроений, которые, по нашей теории, приводят к появлению национализма. Роль, которую сыграл протестантизм в приближении индустриального века, — это огромная, сложная и спорная тема, и нет смысла

здесь ее развивать. Но тесное сближение течений протестантского типа и национализма в тех частях света, куда индустриализм и национализм проникли позже и извне, требует серьезного изучения.

Наиболее ярко это, по-видимому, проявляется в исламе. Культурная история арабского мира и многих других мусульманских стран за последние сто лет — это в значительной мере наступление и победа реформаторства, своего рода исламского протестантизма, признающего только Коран и питающего неискоренимую ненависть ко всякому духовному маклерству, к местным посредникам между человеком и Богом (а на деле — между разными группами людей). Это движение стало играть заметную роль в исламе преиндустриального периода. Его историю едва ли можно отделить от истории арабских (и всех прочих) националистических движений. Ислам всегда имел внутреннюю склонность или предрасположенность к такой “реформированной” вере. Но она была в нем подавлена в силу того, что автономные сельские общины нуждались в особых носителях святости, без посредничества которых они не могли обходиться. В современных условиях эта потенциальная склонность к более отвлеченной вере, охватывающей анонимные сообщества равных верующих, может быть наконец реализована.

Но даже религии, которые, казалось бы, по своей сути чужды «протестантизму», тем не менее могут под натиском индустриализации и нацио-

налистических движений сворачивать на этот путь. Теоретически трудно себе представить, чтобы между синтоизмом и, скажем, английским нонконформизмом существовало какое-либо заметное сходство. Однако в период бурной модернизации Японии в синтоизме на первый план вышли строгие, организующие, как бы квакерские [1] элементы (которые можно, несомненно, обнаружить или насадить везде, если поставить перед собой такую цель), вытеснившие всякие экстатические элементы и чрезмерное панибратство с божественным *. Если бы Древняя Греция просуществовала до наших дней, то дионисийские культы могли бы облечься в более строгие одежды, когда эллины вступили бы на путь индустриального развития.

Помимо тесной духовной связи между протестантизмом и национализмом, существуют еще и прямые последствия самой индустриализации. Мы говорили об общих и всепроникающих следствиях полной индустриализации, когда разбирали предложенную нами универсальную модель индустриального общества, устанавливающую связь между индустриальным разделением труда и осуществлением националистического принципа. Но некоторые специфические последствия ранней индустриализации, которые чаще всего недолговечны, тем не менее играют важную роль. Это — бурный рост населения, быстрая урбаниза-

* Мнение, высказанное мне Рональдом Дором.

ция, миграции рабочей силы, а также экономическое и политическое слияние до сих пор более или менее замкнутых сообществ благодаря единой экономике и централизованному правлению. Это означает, что хотя бы относительно стабильная, раздробленная вавилонская система аграрных обществ, замкнутых в себе, отделенных пространствами друг от друга и огромной социальной дистанцией от верхов, заменяется совершенно новым типом Вавилона, с новыми культурными границами, которые не стабильны, а находятся в постоянном и драматичном движении и которые редко освящены каким-либо обычаем.

Существует также связь между национализмом и такими явлениями, как колониализм, империализм и деколонизация. Возникновение индустриального общества в Западной Европе имело следствием покорение фактически всего мира европейскими державами, а иногда и заселение европейскими колонистами. В результате вся Африка, Америка, Океания и многие районы Азии оказались под властью Европы, а те части Азии, которые избежали этой участи, часто попадали под сильное косвенное влияние. Это завоевание мира довольно сильно отличалось от всех прочих завоеваний. Обычно политическое господство — это вознаграждение тем, кто полностью посвятил себя войне. Его добиваются общества, которые четко ориентированы на ведение войн либо потому, что их племенной образ жизни неизбежно предполагает военную подготовку, либо потому, что

в них есть специально предназначенные для этого правящие сословия, либо еще по какой-нибудь сходной причине. Более того, завоевательская деятельность изнурительна и требует от завоевателей больших затрат энергии.

Ни то ни другое не относится к последнему покорению мира Европой. Оно было начато и завершено народами, все больше и больше вовлекаемыми в промышленность и торговлю, а не их военными машинами и не толпами временно сплотившихся кочевников. Этот процесс не потребовал поголовного участия в нем народов-завоевателей. Мнение, что англичане приобрели империю, сами того не заметив, может быть в какой-то степени распространено и на другие нации. Следует прибавить к чести англичан, что они и потеряли ее, обратив на это не больше внимания. Когда Европа завоевывала и покоряла мир, то в целом ее внимание было поглощено другими, более насущными внутренними делами. Она даже не удостоила завоеванные народы особой заинтересованностью в их покорении. Кроме нескольких нетипичных периодов самодовольного, чванливого империализма и за исключением раннего завоевания Латинской Америки, которое было вдохновлено самой обычной исконной некоммерческой жадностью, дело обстояло именно так. Завоевание не было запланировано и явилось результатом не военной ориентации, а экономического и технологического превосходства.

В результате распространения этих экономи-

ческих и технических достижений соотношение сил изменилось, и примерно между 1905 и 1960 годами многонациональная европейская империя распалась или была добровольно распущена. И здесь опять же нужно принимать в расчет специфические обстоятельства, в которых происходят все эти процессы. Даже если сущность национализма вытекает из общих, абстрактно формулируемых посылок, специфические формы националистического феномена не могут не зависеть от внешних условий.

О СЛАБОСТИ НАЦИОНАЛИЗМА

Обычно принято говорить о силе национализма. Это существенная ошибка, хотя и легко объяснимая, поскольку везде, где национализм пускает корни, он обычно без труда одерживает победу над другими современными идеологиями.

Тем не менее ключ к пониманию национализма столько же в его слабости, сколько в его силе. Именно незалайшая собака навела Шерлока Холмса на правильный след. Количество потенциальных, «незалайших» национализмов намного больше, чем заявивших о себе в полный голос, хотя *эти последние* завладели всем нашим вниманием.

Мы уже указывали на пассивный характер этого якобы могучего зверя в преиндустриальный век. Но даже в националистический век национализм остается удивительно уязвимым еще в од-

ном, очень важном, смысле. Национализм в конечном итоге был определен нами как течение, стремящееся соединить культуру и государство, обеспечить культуру своей собственной политической крышей, и при этом не более чем одной. Культура как неуловимое понятие намеренно была оставлена без определения. Но хотя бы условным критерием самостоятельности культуры, если не необходимым, то по крайней мере достаточным, может считаться язык. Допустим на минуту, что разница в языке предполагает разницу в культуре (хотя не обязательно наоборот).

Если мы даже временно с этим согласимся, то вот что у нас получится. Я слышал, что на Земле существует около 8000 языков [2]. К языкам, несомненно, нужно прибавить и диалекты. Это совершенно закономерно, если следовать «прецедентной» логике: если мы признаем, что те отличия, которые в некоторых местах определяют национализм, способны породить «потенциальный национализм» везде, где подобные отличия имеют место, значит, число потенциальных национализмов резко возрастет. Например, разные славянские, германские и романские языки часто расходятся не больше, чем просто диалекты некоторых языков, которые традиционно принято считать едиными. Некоторые славянские языки, к примеру, даже ближе друг к другу, чем различные формы разговорного арабского, признанного одним языком.

По «прецедентной» логике потенциальные на-

ционализмы могут порождаться не только языковыми различиями. Например, шотландский национализм бесспорно существует. (Казалось бы, это должно противоречить моей теории.) Он пренебрегает языком (который связал бы некоторых шотландцев с ирландским национализмом, а всех остальных — с английским [3]) и обращается к общему историческому опыту. И все же если принять во внимание эти дополнительные факторы (при условии, что они не противоречат моей модели индустриального общества, то есть что они могут служить основой для *в целом* однородной, *внутренне* мобильной культуры/политики с одной образовательной машиной, обслуживающей ту культуру, которая находится под контролем государства), число потенциальных национализмов возрастет еще больше.

Тем не менее давайте остановимся на цифре 8000, сообщенной мне одним лингвистом, которая дает лишь приблизительное представление о количестве языков и, безусловно, основывается на довольно произвольной оценке языка как такового. В мире сейчас существует где-то около 200 государств. К этому можно прибавить все националистические движения, которые еще не обрели своего государства (и возможно, никогда не обретут), но которые ведут борьбу в этом направлении и поэтому имеют законное право входить в число «реальных», а не «потенциальных» национализмов. С другой стороны, нужно исключить из этого числа все те государства,

которые появились на свет без националистического благословения и которые не отвечают националистическому критерию политической законности и даже бросают ему вызов: например, разнообразные, разбросанные по всему земному шару мини-государства, которые являются пережитком донационалистического века, а иногда результатом географической случайности или политического компромисса. Исключив их, мы опять в итоге получим цифру, вряд ли многим превышающую 200. Но давайте будем снисходительными и представим, что на Земле в четыре раза больше реально эффективных национализмов, то есть 800. Я уверен, что это значительно больше, чем позволяет действительность, но пусть будет так.

Этот очень приблизительный подсчет все же дает нам только *один* действительный национализм на *десять* потенциальных! [4] И это фантастическое соотношение, которое, вероятно, огорчит восторженного паннационалиста, если таковой существует, может оказаться еще более фантастическим, если во всей полноте использовать «прецедентную» логику для определения потенциальных национализмов и установить строгий критерий отбора в класс эффективных национализмов.

Какой же в связи с этим напрашивается вывод? Неужели за каждым национализмом, уже показавшим свое уродливое лицо, стоят еще девять, ожидающих своей очереди? Неужели все бомбежки, мучения, обмены населением и еще худшие бе-

ды, уже обрушившиеся на человечество, повторяются в десятикратном размере?

Я думаю, что нет. На каждый действительный национализм приходится энное количество потенциальных, то есть таких групп, которые имеют общую культуру, унаследованную от аграрных времен, или какие-либо иные связи (по «прецедентному» принципу) и которые *могли бы* претендовать на образование однородного индустриального сообщества, но тем не менее не идут на борьбу, не активизируют свой потенциальный национализм и даже не пытаются это сделать. Так что, по всей видимости, потребность сделать культурную взаимозаменяемость основой государства не столь сильна. Члены некоторых групп действительно ее ощущают, члены же большинства групп с аналогичными данными — очевидно, нет.

Чтобы это объяснить, мы должны вернуться к обвинению, выдвигаемому против национализма: будто бы национализм неуклонно навязывает культурную однородность населению, имевшему несчастье оказаться под властью правителей, одержимых националистической идеологией. Это обвинение основывается на том, что традиционные, не напичканные идеологией правители, такие, как, например, османские турки, поддерживали в своих владениях мир и взимали налоги, но они терпимо относились и действительно были абсолютно равнодушны к разнице вер и культур, которыми они управляли. Напротив, их вооруженные винтовками последователи, по-види-

тому, не могут обрести покой, пока не осуществят националистический принцип *cujus regio, ejus lingua**. Им недостаточно денежных излишков и повиновения. Они жаждут подчинить себе культуру и язык своих подданных.

Это обвинение все переворачивает с ног на голову. Дело вовсе не в том, что национализм насаждает культурную однородность из какого-то упрямого *Machtbedürfnis***; национализм является выражением объективной потребности в такой однородности. Поскольку ситуация такова, что современное индустриальное государство, как мы установили, может функционировать только при участии мобильного, грамотного, культурно-унифицированного, взаимозаменяемого населения, неграмотные, полуголодные люди, вырванные из привычных сельских культурных гетто и ввергнутые в хаос городских трущоб, стремятся прибиться к одной из тех культурных общностей, которые уже имеют или, по всей видимости, вскоре обретут собственные государства, где можно будет впоследствии получить полное культурное гражданство, доступ к начальному образованию, работу и т. д. Часто эти оторванные от родных мест, лишенные корней кочующие массы людей не могут сразу выбрать себе постоянное пристанище, часто они останавливаются на временный отдых на том или другом культурном «перевалочном пункте».

* Кому принадлежит государство, тому и язык (*лат.*).

** Стремления к власти (*нем.*).

Но есть такие культурные общности, которых они стараются избегать. Они остерегаются вливаться в сообщества, когда они понимают, что там к ним будут относиться с пренебрежением, или, вернее, когда предвидят, что к ним будут *продолжать* относиться с пренебрежением. Бедных пришельцев почти всегда презирают. Вопрос в том, будет ли это презрение длительным и ожидает ли подобная участь их детей. Это зависит от того, обладает ли вновь прибывший, а потому и наименее привилегированный слой общества такими чертами, с которыми его представители и их потомки не в состоянии расстаться и которые всегда будут выделять их из общей массы: от переходящих из рода в род и глубоко укоренившихся религиозно-культурных обычаев невозможно или трудно отказаться.

Ищущие пристанища жертвы ранней индустриализации вряд ли прельщались маленькими культурными общностями (язык, на котором говорит пара деревень, не открывает больших перспектив), или очень разобщенными, или не имеющими своей письменной традиции или специалистов, способных передавать навыки, и т. д. Им нужны большие культурные общности и/или имеющие основательную историческую базу или специальный интеллектуальный аппарат, хорошо оснащенный для передачи данной культуры. Невозможно выделить какое-либо одно или несколько качеств, которые либо обеспечивают успех культуры, являясь своеобразным националистическим

катализатором, либо обрекают ее на провал. Масштабы, исторический опыт, достаточно компактная территория, способное и активное интеллектуальное сословие — все это, бесспорно, помогает. Но ни одно из этих качеств в отдельности не является необходимым, и вряд ли они могут служить основанием для точных прогнозов. Можно предсказывать, что националистический принцип будет действовать; но какие именно группировки станут его выразителями, можно лишь предполагать, потому что это зависит от слишком многих исторических случайностей.

Национализму как таковому суждено победить, но не какому-либо определенному национализму. Мы знаем, что достаточно однородные культуры, каждая со своей политической крышей, с собственным политическим управлением, становятся нормой, утвердившейся почти повсеместно, за немногими исключениями. Но мы не можем предсказать, какие именно культуры, с какими политическими крышами добьются успеха. В то же время произведенный нами выше простейший подсчет количества культур, или потенциальных национализмов, и ограниченного пространством числа полноценных национальных государств ясно показывает, что потенциальные национализмы либо потерпят поражение, либо — что более вероятно — воздержатся даже от попыток найти политическое выражение.

Так оно и есть на самом деле. Большинство культур, или потенциальных национальных

групп, вступает в век национализма, даже не попытавшись что-либо из этого для себя извлечь. Таких групп, которые по «прецедентной» логике могли бы попытаться стать нациями, которые могли бы определиться на основании критериев, в других местах фактически определяющих реальные и эффективные нации,—бесчисленное множество. И все же большинство из них безропотно подчиняется своей участи: быть свидетелями того, как их культура (хотя не они сами как личности) медленно исчезает, растворяется в более широкой культуре одного из новых национальных государств. Большинство культур без всякого сопротивления отправилось на свалку истории под напором индустриальной цивилизации. Языковое отличие северной Шотландии от остальной Шотландии несравнимо больше, чем культурное отличие Шотландии от прочих регионов Соединенного Королевства. Однако северошотландского национализма не существует. То же самое можно сказать о марокканских берберах [5]. Диалектные и культурные различия внутри Германии или Италии так же велики, как различия между признанными германскими или романскими языками. Население юга России в культурном отношении несхоже с населением ее северных районов, но в отличие от украинского населения оно не ощущает это своеобразие как национальное.

Свидетельствует ли это о том, что национализм, в конце концов, не столь уж важен? Или даже о том, что это чисто идеологический феномен,

измышление горячечных умов, которые таинственным образом увлекли за собой какие-то необычайно чувствительные нации? Вовсе нет. Такое заключение, как это ни странно, почти равносильно молчаливому, косвенному признанию самой неверной посылки националистической идеологии, будто бы «нации» заложены в самой природе вещей, что они только ждут, когда их «пробудят» (излюбленное националистическое выражение и сравнение) от прискорбного сна при помощи националистического «будильника». Именно неспособность большинства потенциальных наций когда-либо «очнуться ото сна», отсутствие в них глубинного брожения, которое могло бы выплеснуться наружу, наводят на мысль, что национализм, в конце концов, не столь уж важен. Приверженцы теории социальной запрограммированности «наций» замечают, возможно, не без удивления, что некоторым из этих «наций» недостает силы и решимости, необходимых для выполнения миссии, возложенной на них историей.

Но национализм — это не пробуждение древней, скрытой, дремлющей силы, хотя он представляет себя именно таковым. В действительности он является следствием новой формы социальной организации, опирающейся на полностью обобществленные, централизованно воспроизводящиеся высокие культуры, каждая из которых защищена своим государством. Эта социальная организация использует некоторые из существовавших ранее культур, постепенно полностью

их перестраивая. Но она не может использовать их все: их слишком много. Жизнеспособное, поддерживающее высокий уровень культуры современное государство не может быть меньше определенного размера (если оно фактически не паразитирует на своих соседях), а на Земле есть место только для ограниченного числа таких государств.

Большой процент погруженных в непробудный сон «наций», которые никогда не встанут и не воссияют и которые даже не желают просыпаться, позволяет нам критиковать националистическую доктрину с ее же собственных позиций. Национализм считает себя естественным и всеобщим регулятором политической жизни человечества, только скованным этим длительным, упорным, мистическим сном. Вот как это представление выражено у Гегеля: «Нации могут пройти большой исторический путь, прежде чем они осуществят свое предназначение — оформить себя в виде государства»*. Тут же Гегель заявляет, что этот догосударственный период на самом деле можно назвать «доисторическим» (sic): таким образом, у него получается, что настоящая история нации начинается тогда, когда она обретает собственное государство. Если мы выставим существование наций — спящих красавиц, не имеющих своих государств и не ощущающих потребности в них, — в качестве аргумента против националистической

* G. W. F. Hegel. Lectures on the Philosophy of World History, tr. H. B. Nisbet, Cambridge, 1975, p. 134.

доктрины, мы тем самым молчаливо признаем ее социальную метафизику, которая видит в нациях кирпичики, из которых сложено человечество. Критики национализма, которые осуждают националистическое движение, но не отрицают существования скрытых наций, не много преуспеют. Нации как естественный, данный от Бога способ классификации людей, как изначально уготованный им, хотя долго не осознаваемый политический удел — это миф. Национализм, который иногда берет ранее существовавшие культуры и превращает их в нации, иногда изобретает новые культуры и часто уничтожает старые, — это реальность, хороша она или плоха, и, в общем, реальность неизбежная. Исторические носители национализма не понимают сути того, что они делают, но это уже другой вопрос.

Мы не должны руководствоваться мифом. Нации не даны нам от природы, они не являются политической версией теории биологических видов. И национальные государства не были заранее предопределенной кульминацией развития этнических или культурных групп. В действительности существуют культуры, часто с трудом выделяемые, постепенно переходящие одна в другую, перекрещивающиеся и переплетающиеся, а также существуют, обычно, но не всегда, политические единицы разных типов и размеров. В прошлом они чаще всего не совпадали. Для этого во многих случаях были веские причины. Правители политических единиц самоутверждались, отделяя себя от

низов, а подвластные им микросообщества отделяли себя от своих соседей, объединенных в такие же сообщества.

Но национализм — это не пробуждение и самоутверждение мифических, якобы естественных и заранее заданных сообществ. Это, напротив, формирование новых сообществ, соответствующих современным условиям, хотя использующих в качестве сырья культурное, историческое и прочее наследие донационалистического мира. Эта сила — движение к новым сообществам, основанным на принципах, отвечающих новому разделению труда, — очень могущественна, но это не единственная сила в современном мире, и ее нельзя считать непреодолимой. В большинстве случаев национализм побеждает и прежде всего он определяет *норму* законности политических единиц: большинство из них вынуждено подчиниться вышеописанным националистическим требованиям. Национализм устанавливает общепринятый стандарт, даже если он не побеждает полностью и повсеместно и некоторые случаи нарушения нормы имеют место.

Неоднозначность ответа на вопрос: «Силен национализм или нет?» — имеет следующую причину: национализм сам видит и изображает себя как стремление к определению каждой и всякой «национальности», и эти мнимо реальные субстанции якобы существуют, подобно горе Эверест, с незапамятных времен, предшествующих веку национализма. Таким образом, по иронии

судьбы, национализм с его собственной точки зрения удивительно слаб. Большинство потенциальных наций, скрытых вычленимых сообществ, способных претендовать на то, чтобы стать нациями на тех же основаниях, на которых в других местах подобные сообщества ими стали, даже не заявляют своих претензий, не говоря уже о том, чтобы решительно на них настаивать и достичь цели. Если же оценивать национализм с той точки зрения, которую я считаю правильной и которая, по сути дела, отрицает и рушит его собственное представление о себе, то вывод может быть только один. Это очень мощная сила, хотя, возможно, не исключительная и не непреодолимая.

ДИКИЕ И САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

К пониманию основной проблемы можно подойти следующим образом. Культуры, как растения, можно разделить на культивированные и некультивированные. Некультивированные культуры производят и воспроизводят себя стихийно, в процессе человеческой жизни. Ни одно сообщество не обходится без единой коммуникативной и нормативной системы, и некультивированные системы этого типа (иными словами, культуры) воспроизводят себя из поколения в поколение бессознательно, без специального наблюдения, контроля или поддержки.

Культивированные, или садовые, культуры многообразны, хотя они развились из диких

форм. Сложность и богатство этих культур обычно держатся на письменности и на особом классе специалистов. Лишившись своих специфических источников питания — специализированных институтов обучения с достаточно многочисленным штатом профессиональных, квалифицированных педагогов — они бы погибли. В течение аграрной эпохи истории человечества высокие культуры, или великие традиции, стали играть заметную, важную и в одном отношении — но только в одном — господствующую роль. Несмотря на то что они не сумели навязать себя всей или хотя бы основной массе населения, им удалось навязать свой авторитет, даже если (или потому что) они были недоступны или непонятны. Иногда они усиливали централизованное государство, иногда соперничали с ним. Они также могли подменять собой государство, когда оно ослабевало или распадалось во времена невзгод и смут. Церковь или ритуальная система могла выступать в качестве дублера бывшей или призрачной империи. Но высокие культуры обычно не определяли пределов политических единиц; по многим причинам в аграрный век им это было ненужно.

В индустриальный век ситуация меняется. Высокие культуры начинают господствовать совсем в другом смысле. Связанные с ними старые доктрины в основном утрачивают свою власть над людьми, но зато сформированные ими письменные языки и стили общения приобретают гораздо более реальный, чем в аграрную эпоху, авторитет

и утверждаются как норма и, что самое главное, распространяются и становятся универсальными. Иными словами, практически все становятся грамотными и общаются при помощи сложного кода — четких, чисто «грамматических» (выстроенных по определенным правилам) языковых конструкций, а не при помощи ситуационно обусловленных хмыканий и кивков.

Но высокая культура, охватившая собой все общество, теперь крайне нуждается в политической помощи и поддержке. В аграрную эпоху она иногда их имела, от чего только выигрывала, но вообще она могла обходиться без политической защиты, и в этом заключалась одна из ее сильных сторон. В смутные времена, когда воцарялась анархия и все законы теряли силу, христианские и буддийские монастыри, дервишские ордена и браминские общины продолжали существовать и в какой-то мере сохраняли высокую культуру, не прибегая к помощи меча.

Теперь, когда перед высокой культурой стоит гораздо более важная и гораздо более трудная задача, она не может обходиться без политического фундамента. Как заметила героиня романа «Нет орхидей для мисс Блэндиш» [6], каждая девушка должна иметь мужа, и предпочтительно своего собственного. Каждая высокая культура теперь хочет иметь государство, и предпочтительно свое собственное. Не все дикие культуры могут перерасти в высокие культуры, и те из них, которые не имеют серьезных оснований на это надеяться,

обычно устраняются без всякой борьбы; они не порождают национализма. Те же, которые считают, что у них есть шансы на успех, или (если избегать антропоморфических оборотов) носители которых верят в их большие возможности, вступают друг с другом в борьбу за нужные им народы и необходимое жизненное пространство. Это один из видов националистического или этнического конфликта. Там, где существующие политические границы не совпадают с границами старых или формирующихся культур с политическими устремлениями, возникает конфликт другого типа, в высшей степени характерный для века национализма.

Для того чтобы обрисовать сложившуюся ситуацию, полезно, кроме ботанического, сделать еще одно сопоставление. Аграрного человека можно сравнить с созданными природой видами, которые могут существовать в естественном окружении. Индустриального человека можно сравнить с искусственно выведенными или выращенными видами, которые уже не могут нормально дышать в природной атмосфере, а могут жить и нормально функционировать только в новой, специально подготовленной и искусственно поддерживаемой атмосфере или среде. Поэтому он живет в закрытых, особым образом устроенных вместилищах, вроде гигантских аквариумов или кислородных камер. Но эти камеры нужно построить и затем обслуживать. Подача необходимой для жизни атмосферы или жидкости в каж-

дый из этих гигантских резервуаров не осуществляется сама собой. Она требует специального механизма. Название этого механизма — национальная образовательная и коммуникативная система. Ее единственный реальный содержатель и защитник — государство.

В принципе нет ничего невозможного в том, чтобы весь мир представлял из себя единый культурно-образовательный резервуар, поддерживаемый одной политической властью и одной образовательной системой. Когда-нибудь, в далеком будущем, это, возможно, и осуществится. Пока же, по очень веским причинам, которые будут рассмотрены позже, всеобщей нормой остается система отделенных друг от друга кислородных камер или аквариумов со своими собственными, индивидуальными, не полностью взаимозаменяемыми средами или атмосферами. По существу, у них довольно много общего. Формулы атмосфер в высокоразвитых индустриальных резервуарах очень близки по типу, хотя в них входит множество сравнительно незначительных, но намеренно выставляемых напоказ контрастирующих элементов.

Для этого нового плюрализма есть серьезные и очевидные причины, на которых мы в дальнейшем остановимся. Индустриальный век получил в наследство от предшествующей эпохи политические единицы и культуры — как высокие, так и низкие. Нет никаких причин для того, чтобы они все вдруг слились в одну культуру, и есть веские

причины для того, чтобы они *не* слились. Индустриализм, иными словами, тип производства или разделения труда, которому необходимы эти однородные воздушные бассейны, не приходит одновременно во все части мира и приходит разными путями. Неодновременность его прихода очень решительно поделила человечество на соперничающие группировки. Этот неодновременный приход индустриализма в разные сообщества ощущался очень остро, если он поднимал на щит какие-либо культурные, генетические или подобные им отличия, оставшиеся от аграрного века. Начало «развития» становится решающим политическим диакритическим знаком [7], если оно может подхватить какую-либо культурную особенность, унаследованную от аграрного века, и использовать ее в качестве символа.

Процесс индустриализации имел несколько следующих один за другим этапов и проходил в разных условиях. Поэтому он вызвал к жизни множество новых соперников, с новыми приобретениями и потерями, которых нужно было добиться или избежать. Пророки и исследователи индустриализма, как левые, так и правые, часто предрекали наступление века интернационализма, но произошло обратное: наступил век национализма.

ЧТО ТАКОЕ НАЦИЯ?

Теперь мы наконец подвинулись настолько, чтобы попытаться более или менее определенно ответить на этот вопрос. Вначале мы говорили о двух наиболее реальных основаниях, на которых можно было бы построить теорию национальности, — это добрая воля и культура. Очевидно, что каждое из этих оснований одинаково важно и нужно, но очевидно также, что ни одно из них далеко не достаточно. Полезно разобраться, почему это так.

Нет сомнения, что добрая воля, или согласие, является существенным фактором в формировании большинства групп, как больших, так и малых. Человечество всегда было организовано в группы всевозможных типов и размеров, иногда четко очерченные, иногда рассеянные, иногда живущие обособленными ячейками, иногда частично совпадающие или смешанные. Таких способов организации, а также принципов, которые лежали в основе создания и существования этих групп, бесконечное множество. Но решающими, бесспорно, являются два типичных стимула или ка-

тализатора возникновения и функционирования всех групп: желание, добровольное присоединение и отождествление, преданность, единство, с одной стороны, и страх, сдерживание, принуждение — с другой. Эти две возможности являются полюсами своего рода спектра. Некоторые сообщества могли основываться исключительно или главным образом на том или на другом, но такие случаи — редкость. Наиболее устойчивыми являются группы, где преданность и отождествление (*добровольное присоединение*) переплетаются с внешними факторами, позитивными и негативными, — надеждами и страхами.

Если мы определим нации как группы, которые сами *желают* существовать как сообщества *, то сеть, которую мы забросили в море определений, вытащит слишком богатый улов. В нее действительно попадут сообщества, в которых мы легко узнаем жизнеспособные и сплоченные нации: эти истинные нации фактически хотят быть таковыми, и их жизнь может действительно представлять собой что-то вроде непрерывного, неформального, постоянно самоутверждающегося плебисцита. Но (и в этом состоит слабость такого определения) то же самое относится и ко всякого рода клубам, тайным обществам, шайкам, командам, партиям, не говоря уже о многочисленных сообществах и объединениях доинду-

* Renan Ernest. Qu'est-ce qu'une Nation. Переиздано в книге Ernest Renan et l'Allemagne, Textes recueillis et commentés par Emile Bure. NY, 1945.

стриального века, которые создавались и определялись не в соответствии с националистическим принципом, а вопреки ему. Добрая воля, согласие, отождествление никогда не сходили с человеческой сцены, хотя рядом с ними стояли и продолжают стоять расчет, страх, и интерес. (Любопытный и спорный вопрос: следует ли считать чистую инерцию, устойчивость соединений и комбинаций молчаливым согласием или чем-либо иным?)

Негласное самоотождествление имело место во всех видах группировок, бóльших или меньших, чем нации, разделены ли они территориально, или по горизонтали, или каким-либо иным образом. Только потому, что в наш националистический век национальные объединения являются *привилегированными*, излюбленными объектами отождествления и добровольного присоединения, это определение кажется заманчивым; просто все другие виды групп сейчас отступают на задний план. Те, кто принимает негласные установки национализма за само собой разумеющиеся, ошибочно приписывают их также всему человечеству во все времена. Но определения, связанные с установками и условиями одного века (причем даже для него исключительными, не могут служить для объяснения *рождения* этого века.

Всякое определение наций на основании общности культуры — другая сеть, которая вытаскивает слишком обильный улов. В человеческой истории не было и нет недостатка в культурных различиях. Культурные границы иногда отчетли-

вы, иногда размыты; модели культур иногда просты и ясны, иногда замысловаты и сложны. По всем тем причинам, о которых мы уже много говорили, это обилие различий обычно не совпадает и не может совпадать ни с границами политических единиц (регионов, подчиненных сильной власти), ни с границами сообществ, объединившихся под знаком согласия и доброй воли. Аграрный мир просто не может быть таким упорядоченным. Индустриальный мир стремится стать таким или по крайней мере приблизиться к такой простоте, но это другой вопрос, и на то имеются особые причины.

Распространение высоких культур (стандартизированных, опирающихся на письменность и экзообразование коммуникативных систем) — процесс, быстро набирающий скорость во всем мире. Это привело к тому, что всякому, кто находится в плену наших современных представлений, кажется, что национальность может определяться, исходя из общности культуры. В наши дни люди могут жить только в сообществах, связанных общей культурой и внутренне подвижных и изменчивых. Изначальный культурный плюрализм утрачивает свою жизнеспособность в современных условиях. Но даже поверхностных познаний в истории и социологии достаточно, чтобы развеять иллюзию, что так было всегда. Культурно-плюралистические общества в прошлом функционировали очень хорошо: фактически настоль-

ко хорошо, что культурное многообразие иногда изобреталось там, где его прежде не было.

Если по столь убедительным причинам два явно реальных подхода к определению национальности оказываются закрытыми, есть ли иной путь?

Каким бы это ни казалось парадоксальным, но факт остается фактом: определение наций может отталкиваться только от реальностей эпохи национализма, а не, как можно было бы предположить, от противного. «Век национализма» — не просто итог пробуждения и политического самоутверждения той или иной нации. Дело в том, что, когда социальные условия требуют стандартизированных, однородных, централизованно охраняемых высоких культур, охватывающих все население, а не только элитарное меньшинство, возникает ситуация, когда четко обозначенные, санкционированные образованием и унифицированные культуры становятся почти единственным видом общности, с которой люди добровольно и часто пылко отождествляют себя. Культуры теперь представляются естественными хранилищами политической законности. Только в такой ситуации начинает казаться, что всякое игнорирование их границ является беззаконием.

Исходя из этих условий — хотя только из этих условий, — нации действительно могут определяться на основании как доброй воли, так и культуры и на основании их совпадения с политическими единицами. В этих условиях люди желают

быть политически едиными со всеми теми, и только с теми, кто принадлежит к той же культуре. Соответственно государства стремятся совместить свои границы с границами своих культур и защищать и внедрять свои культуры в пределах своей власти. Слияние доброй воли, культуры и государства становится нормой, причем нормой нелегко и нечасто нарушаемой. (Некогда она почти повсеместно нарушалась совершенно безнаказанно, и никто этого даже не замечал и не обсуждал.) Эти условия отнюдь не характерны для человеческого общества как такового, но исключительно для его индустриальной стадии.

Именно национализм порождает нации, а не наоборот. Конечно, национализм использует существовавшее ранее множество культур или культурное многообразие, хотя он использует его очень выборочно и чаще всего коренным образом трансформируя. Мертвые языки могут быть возрождены, традиции изобретены, совершенно мифическая изначальная чистота восстановлена. Но этот культурно-творческий, изобретательский, безусловно, надуманный аспект националистического пыла не должен склонить нас к ошибочному заключению, что национализм — это случайное, искусственное, идеологическое измышление, которого могло бы не быть, если бы только эти чертовски настырные, неугомонные европейские мыслители, которым до всего есть дело, не состряпали его и на беду не впрыснули в кровь доселе нормально функционировавших политических сооб-

ществ. Культурные лоскутки и заплатки, используемые национализмом, часто являются произвольными историческими изобретениями. Любой старый лоскут или заплатка также идет в дело. Но из этого ни в коем случае не следует, что сам принцип национализма в противоположность тем аватарам [1], которые он избирает для своего воплощения, является случайным и произвольным.

Ничто не может быть дальше от истины, чем такое предположение. Национализм — совсем не то, чем он кажется, и прежде всего национализм — совсем не то, чем он кажется самому себе. Культуры, которые он требует защищать и возрождать, часто являются его собственным вымыслом или изменены до неузнаваемости. Тем не менее националистический принцип как таковой, как отличный от каждой из его специфических форм и от той индивидуалистической чепухи, которую он может исповедовать, имеет очень глубокие корни в наших общих современных условиях. Поэтому он вовсе не случаен и не может быть с легкостью отброшен.

Эмиль Дюркгейм считал, что, поклоняясь божеству, общество поклоняется своему собственному замаскированному образу. В националистический век общества поклоняются себе не стыдясь и открыто, пренебрегая всякой маскировкой. В Нюрнберге нацистская Германия не делала вид, что она поклоняется Богу или даже Вотану [2], она откровенно поклонялась самой себе. Более уме-

ренным, но не менее важным проявлением современной тенденции является то, что просвещенные теологи-модернисты не верят и даже не придают большого значения догматам своей религии, так много значившим для их предшественников. Они подходят к ним с каким-то забавным автофункционализмом, считая их просто и только понятиями и ритуальными инструментами, с помощью которых социальная традиция утверждает свои ценности, свою целостность и свое единство, и постоянно затушевывают и преуменьшают разницу между такой негласно усеченной «верой» и подлинным явлением, которое ей предшествовало и сыграло такую решающую роль в ранней европейской истории, — роль, какую никогда не смогли бы сыграть обесцвеченные до неузнаваемости, обескровленные современные версии.

Но тот факт, что социальное самопоклонение, будь оно яростное и неистовое или спокойное и ненавязчивое, стало теперь открыто провозглашенным коллективным самопоклонением, а не скрытым самопоклонением через образ божества, как утверждал Дюркгейм, не означает, что современное общество объективнее, чем оно было в век Дюркгейма. Хотя оно больше не смотрит на себя через призму божественного, но национализм имеет и свои собственные провалы в памяти, и свои пристрастия, которые, даже будучи абсолютно мирскими, могут сильно исказить действительность и вводить в заблуждение.

Основной обман и самообман, свойственный национализму, состоит в следующем: национализм, по существу, является навязыванием высокой культуры обществу, где раньше низкие культуры определяли жизнь большинства, а в некоторых случаях и всего населения. Это означает повсеместное распространение опосредованного школой, академически выверенного, кодифицированного языка, необходимого для достаточно четкого функционирования бюрократической и технологической коммуникативной системы. Это замена прежней сложной структуры локальных групп, опирающихся на народные культуры, которые воспроизводились на местах — и в каждом случае по-своему — самими этими микрогруппами, анонимным, безличным обществом со взаимозаменяемыми атомоподобными индивидами, связанными прежде всего общей культурой нового типа. Вот что происходит *на самом деле*.

Но это противоречит тому, что проповедует национализм и во что горячо верят националисты. Национализм обычно борется от имени псевдонародной культуры. Он берет свою символику из здоровой, простой, трудовой жизни крестьян, *народа*. Есть определенная доля истины в националистической самооценке, когда *народ* управляется чиновниками другой, чужой высокой культуры, гнету которой должно быть противопоставлено прежде всего культурное возрождение и в конечном счете война за национальное освобождение. Если национализм добивается успеха, он

устраняет чужую высокую культуру, но не заменяет ее старой низкой культурой. Он возрождает или создает собственную высокую (обладающую письменностью, передающуюся специалистами) культуру, хотя, конечно, такую культуру, которая имеет определенную связь с прежними местными народными традициями и диалектами. Но в действительности это выглядит так, как будто знатные дамы из Будапештской оперы отправились в город в крестьянских костюмах или в костюмах, которые выдаются за крестьянские. В настоящее время в Советском Союзе покупателями «фольклорных» пластинок являются не жители деревень, а недавно урбанизованное, живущее в квартирах, обученное и многоязычное население *, которому нравится говорить о своих действительных и воображаемых чувствах и корнях и которое, конечно, не откажет себе в таких националистических проявлениях, которые позволит политическая ситуация.

Так что социологический самообман, взгляд на реальность через призму иллюзии, продолжает сохраняться, но он уже отличается от того взгляда, который анализировал Дюркгейм. Общество больше не поклоняется себе через посредство религиозных символов; современная рационализированная, механизированная высокая культура прославляет себя в песне и танце, заимствуя их (при этом стилизуя) из народной культу-

* Бромлей Ю.В. и др. Современные этнические процессы в СССР. Москва, 1975.

ры, которую, как ей кажется, она любовно увековечивает, защищает и заново утверждает.

ПУТЬ ПОДЛИННОГО НАЦИОНАЛИЗМА НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ГЛАДКИМ

Национализм обычно развивался по следующей типичной схеме (в дальнейшем мы еще будем к ней возвращаться). Руританцы [3] были сельским населением, говорившим на родственных и более или менее взаимопонимаемых диалектах, обитавшим в ряде обособленных, но не сильно разобщенных районов на территории империи Мегаломании. На руританском языке или, вернее, на диалектах, которые составляли этот язык, не говорил никто, кроме самих этих крестьян. Так сложилось, что аристократия и чиновничество говорили на языке мегаломанского двора, принадлежавшем к языковой группе, отличной от той, из которой выделились руританские диалекты.

Многие, хотя и не все руританские крестьяне принадлежали к церкви, где служба тоже велась на языке другой лингвистической группы. Многие священники, особенно высоко стоявшие на иерархической лестнице, говорили на языке, который был современным разговорным вариантом церковного языка этой веры и который тоже был очень далек от руританского. Мелкие торговцы из небольших городков, обслуживавшие сельскую местность, относились к другой этнической груп-

пе и религии, к которой руританское население испытывало глубокое отвращение.

В прошлом руританские крестьяне извели много горя, трогательно и прекрасно излившегося в их песнях-плачах (которые кропотливо собирались деревенскими школьными учителями в конце XIX века и которые стали известны любителям музыки всего мира через произведения великого руританского композитора L.). Жестокое угнетение руританских крестьян вызвало в XVIII веке народное восстание, возглавленное знаменитым руританским бунтовщиком К., чьи подвиги, как известно, все еще живы в памяти его народа, не говоря уже о том, что они увековечены в нескольких романах и в двух фильмах, один из которых поставлен национальным артистом Z. при поддержке властей вскоре после провозглашения Народной Социалистической Республики Руритании.

Нельзя пройти мимо того факта, что этот бунтовщик был схвачен своими же соотечественниками и что во главе суда, приговорившего его к мучительной казни, тоже стоял его соотечественник. К тому же вскоре после того, как Руритания впервые обрела независимость, министерства внутренних дел, юстиции и образования обошел циркуляр, в котором поднимался вопрос, не выгоднее ли теперь прославлять деревенские оборонительные отряды, которые оказывали сопротивление бунтовщику и его шайкам, а не самого этого бунтовщика, чтобы не поощрять противодействия полиции.

Внимательный анализ народных песен, с таким усердием собиравшихся в XIX веке и теперь вошедших в репертуар молодежного, туристического и спортивного движения, не выявляет какого-либо серьезного недовольства крестьянства лингвистической и культурной ситуацией, как бы их ни печалили иные, более земные дела. Напротив, все свидетельства осознания лингвистического плюрализма в песнях носят ироничный, шутливый, добродушный характер и состоят большей частью из двуязычных каламбуров, иногда сомнительного вкуса. Надо также сказать, что одна из наиболее трогательных народных песен — я часто пел ее у костра в лагере, куда меня отправляли на летние каникулы, — оплакивает судьбу пастушка, который пас трех волов на клеверном поле сеньора (*sic*) около леса, когда на него внезапно напала группа мятежников, требуя, чтобы он отдал им свой кафтан. По легкомыслию и по недостатку политического сознания пастушок отказался, и был убит. Я не знаю, была ли эта песня соответствующим образом переделана, когда Руритания стала социалистической. Как бы там ни было, возвращаюсь к моей главной теме: хотя в песнях часто содержатся жалобы на положение крестьянства, они не поднимают вопроса культурного национализма.

Это еще должно было прийти, и, по всей видимости, после сочинения вышеупомянутых песен. В XIX веке демографический взрыв произошел в то время, когда в других районах империи Мега-

ломании — но не в Руритании — шла быстрая индустриализация. Руританские крестьяне вынуждены были искать работу в индустриально более развитых областях, и некоторые получали ее на чудовищных условиях, преобладавших в то время. Как отсталые сельские жители, говорившие на малопонятном и редко имевшем свою письменность и своих учителей языке, они вели исключительно тяжелую жизнь в городских трущобах, куда они переместились. В то же самое время некоторые руританские юноши, предназначавшиеся для духовной карьеры и обученные как языку двора, так и языку богослужения, воспитывались в специальных школах и, попадая под влияние новых либеральных идей, поступали в светские высшие учебные заведения, становясь в конце концов не священниками, а журналистами, учителями и профессорами. Их поддерживали некоторые иностранные — не руританские — этнографы, музыковеды и историки, которые приезжали изучать Руританию. Продолжающаяся трудовая миграция, все более распространяющееся элементарное образование и воинская повинность обеспечивали этих руританских просветителей растущей аудиторией.

Конечно, руританцы вполне могли, если хотели (а многие так и делали), влиться в доминирующий язык Мегаломании. Никакая наследственная черта, никакой глубоко укоренившийся религиозный обычай не отличали образованного руританца от такого же мегаломанца. Фактически многие

ассимилировались, часто даже не давая себе труда менять имена, и телефонный справочник старой столицы Мегаломании (теперь Федеративной Республики Мегаломании) пестрит руританскими именами, порой довольно комически переделанными на мегаломанский манер и приспособленными к мегаломанским фонетическим требованиям. Дело в том, что дети и внуки руританских трудовых мигрантов первого поколения, тяжело и мучительно приживавшихся на новом месте, уже имели довольно приличные шансы на нормальное существование, вероятно даже не худшие (учитывая их готовность усердно работать), чем у их мегаломанских сограждан неруританского происхождения. Так что эти потомки участвовали в реальном росте благосостояния и общем обуржуазивании региона. Поэтому в том, что касается возможностей отдельного индивида, по-видимому, не было нужды в яростном руританском национализме.

Тем не менее что-то в этом роде происходило. Было бы, я думаю, совершенно неверно приписывать какой-либо сознательный расчет участникам движения. Следует предположить, что субъективно ими руководили побуждения и чувства, которые так бурно выразились в литературе национального возрождения. Они оплакивали убожество и запущенность своих родных долин, в то же время прозревая в них сельские достоинства, которые еще предстояло открыть. Они оплакивали дискриминацию, жертвами которой стали их со-

племенники, и отчуждение от родной культуры, на которое они были обречены в рабочих пригородах индустриальных городов. Они выступали против этих зол и были услышаны многими своими братьями. Каким образом Руритания, когда сложилась благоприятная для нее международная политическая ситуация, обрела независимость, записано в анналах истории, и здесь не стоит на этом останавливаться.

Еще раз повторим, что никто из участников движения не имел каких-либо сознательных, далеко идущих планов. Националистически настроенные интеллигенты были полны горячего и благородного пыла во имя всех своих соплеменников. Когда они надевали народные костюмы и путешествовали по холмам, сочиняя поэмы на лесных полянах, они не мечтали о том, чтобы в один прекрасный день стать всемогущими бюрократами, послами и министрами. Более того, крестьяне и рабочие, на которых им удавалось оказать влияние, возмущались своим положением, но не мечтали о тех временах, когда сталеплавильные заводы (как теперь оказалось, совершенно непригодные) поднимутся в самом центре руританских долин, полностью уничтожив довольно значительные пространства окружающих пахотных земель и пастбищ. Было бы в корне неверно пытаться свести эти чувства к расчетам на материальное благополучие или социальную мобильность.

Настоящая теория иногда представляется как сведение национального чувства к расчетам на

с более передовыми в научном отношении этническими группами. Что касается крестьян и рабочих, то они не сразу выиграли от этого, но проведение политической границы вокруг вновь определенной этнической Руритании означало реальное стимулирование и защиту промышленности этого края и в конце концов свело до минимума необходимость трудовой эмиграции.

Все это сводится к следующему: в ранний период индустриализации люди, втянутые в новую систему из культурных и лингвистических групп, удаленных от развитого центра, оказываются в очень неблагоприятном положении даже по сравнению с другими экономически слабыми новыми пролетариями, имеющими то преимущество, что они разделяют культуру политических и экономических правителей. Но культурная/лингвистическая дистанция и способность отделять себя от других, которая служит помехой для отдельных индивидов, может быть и в конечном счете является явным преимуществом для реальных и потенциальных коллективов этих жертв зарождения нового мира. Она позволяет им осознавать и вразумительно формулировать свое негодование и недовольство. Руританцы раньше думали и выражали свои чувства на языке семьи и деревни, самое большее на языке долины и, возможно, иногда на языке религии. Но теперь, втянутые в тигель индустриального развития, они не имели больше ни долины, ни деревни, а порой и семьи. Но вокруг были другие бедные и угнетен-

перспективу социального развития. Но это искажение. В старые времена не имело смысла спрашивать, любят ли крестьяне свою культуру: они воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, как воздух, которым они дышали, и не осознавали ни того, ни другого. Но когда трудовая миграция и бюрократизм стали заметными явлениями на их социальном горизонте, они очень скоро поняли разницу в отношениях с людьми, сочувствующими и симпатизирующими их культуре, и с людьми, враждебными ей. Этот очень конкретный опыт научил их осознавать свою культуру и любить ее (или, вернее, желать быть свободными от нее) без какого-либо сознательного расчета на преимущества и перспективы социальной мобильности. В стабильных замкнутых сообществах культура часто совершенно невидима, но когда мобильность и ситуационно не обусловленное общение становятся основой социальной жизни, культура, где каждого человека *учат* такому общению, становится сущностью его личности.

Так что *если бы* такой расчет и существовал (а его не существовало), то в довольно большом количестве случаев, хотя и, безусловно, не во всех, он был бы вполне обоснованным. Действительно, поскольку руританская интеллигенция была относительно малочисленна, те руританцы, которые имели высокую квалификацию, заняли в независимой Руритании такие посты, на какие большинство из них не могло бы рассчитывать в огромной Мегаломании, где приходилось соперничать

ные люди, и многие из них говорили на узнаваемо сходных диалектах, в то время как лучше устроенное большинство разговаривало на чем-то чуждом. Так что новое самосознание руританской нации родилось из этого контраста не без помощи все тех же журналистов и учителей. И это была не иллюзия: достижение некоторых целей зарождающегося руританского национального движения действительно облегчило страдания, которые дали ему толчок. Облегчение, вероятно, в любом случае наступило бы, но, приняв национальную форму, оно породило новую высокую культуру и охраняющее ее государство.

Это один из двух важных принципов деления, которые определяют возникновение новых политических единиц, когда рождается индустриальный мир с его ограниченными культурными бассейнами. Его можно назвать принципом коммуникативных барьеров, барьеров, возникших на основе прежних, доиндустриальных культур. Этот принцип действует особенно мощно в ранний период индустриализации. Другой принцип, такой же важный, можно назвать принципом сдерживания социальной энтропии; на нем следует остановиться подробнее.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭНТРОПИЯ [1] И РАВЕНСТВО В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Переход от аграрного общества к индустриальному обладает неким энтропическим свойством перехода от структуры к систематизированной беспорядочности. Аграрное общество с его относительно устоявшимся разделением труда, четким делением на региональные, родственные, профессиональные и сословные группы имеет ярко выраженную социальную структуру. Ее элементы упорядочены, а не распределены произвольно. Его субкультуры подчеркивают и подкрепляют это структурное деление, и оно не затрудняет функционирования всего общества, создавая или подчеркивая культурные различия внутри него. Напротив, общество, не находя такого рода культурные различия оскорбительными, считает их проявление и выражение вполне уместным и достойным. Их признание и является, по существу, соблюдением норм морали, этикета.

Совсем не так устроено индустриальное обще-

ство. Его территориальные и рабочие единицы создаются *ad hoc* *: их состав подвижен, легко восполняется и, как правило, они не требуют и не добиваются сдерживания в определенных границах или выделения своих членов. Короче говоря, старые структуры утрачиваются и в значительной мере заменяются внутренне не упорядоченной и подвижной общностью, в которой не так много исходных субструктур (разумеется, в сравнении с предшествующим аграрным обществом). Очень мало остается для сколь-либо эффективной жесткой организации на любом уровне между отдельной личностью и обществом в целом. Это всеобщее и цельное политическое сообщество, таким образом, приобретает совершенно новое и очень существенное значение, будучи привязано (что редко бывало в прошлом) как к государственным, так и к культурным границам. Теперь первостепенную значимость приобретает *нация* — как из-за разрушения более мелких социальных группировок, так и благодаря широко возросшему значению общей письменной культуры. Государство неизбежно вынуждено брать на себя управление и поддерживать громадную социальную инфраструктуру, причем затрачиваемые на это средства составляют почти половину всего дохода общества. Система образования становится весьма существенной его частью, а поддержанию культурно-языковой среды отводится централь-

* В соответствии с конкретной ситуацией (*лат.*).

ная роль в образовании. Гражданам остается только существовать в соответствии с идеями и действовать внутри этой среды, которая совпадает с территорией государства, его образовательными и культурными учреждениями и нуждается в защите, поддержке и заботе.

Роль культуры больше не сводится к выделению и обозначению структурных различий внутри общества (даже если некоторые из них сохраняются и если, как случается, возникает ряд новых). Напротив, если культурные различия оказывают влияние на различия в положении членов общества и усугубляют их, это рассматривается как нечто постыдное и указывает на изъяны в системе образования. Задача, стоящая перед такой системой, сводится к воспитанию достойных, преданных и образованных членов общества, которые займут внутри него посты независимо от частичной принадлежности к каким-либо подгруппам внутри этого общества. И если случайно или по чьей-либо воле какая-то часть системы образования окажется несостоятельной или действительно приведет к внутренним культурным различиям и, таким образом, допустит или вызовет дискриминацию, это рассматривается как нечто недо-зволненное.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ЭНТРОПИИ

Все сказанное является лишь повторением нашей общей теории возникновения национализма

и новой оценки роли культуры в мобильном, образованном, анонимном, индустриальном обществе. Но здесь на первый план выступает одна существенная деталь: подчеркивается необходимость кажущейся беспорядочности, энтропической мобильности и распределения индивидов в подобном обществе. Внутри него, несмотря на частичное исчезновение подгрупп и ослабление их морального авторитета, между людьми по-прежнему сохраняется множество различий. Людей можно охарактеризовать как высоких или низкорослых, худых или толстых, блондинов или брюнетов; найти множество других отличий. Несомненно, число признаков, с помощью которых можно оценивать людей, беспредельно. Однако большая их часть не представляет никакого интереса. Исключения составляют лишь признаки, существенные в социальном и политическом отношении. И это именно те признаки, которые я бы решился назвать «антиэнтропическими» (противоэнтропическими). Так, классификация становится устойчивой к энтропии, если она основывается на признаке, имеющем явную тенденцию *не* распределяться равномерно по всему обществу, даже по прошествии определенного времени с момента возникновения индустриального порядка. В таком случае сдерживания энтропии те, кто обладает характерными чертами, о которых мы упомянули выше, будут склонны концентрироваться в той или иной части общества.

Допустим, в обществе имеется определенное

количество индивидуумов с синим цветом кожи, случайно им доставшимся по наследству. Допустим также, что, несмотря на временной отрезок, охватывающий жизнь нескольких поколений, считая с момента утверждения новой структуры, а также официального признания и укрепления политики *la carrière ouverte aux talents**, большинство синекожих настойчиво старается занять свое место либо в верхних, либо в низших слоях данного общества. Другими словами, синекожие либо претендуют на слишком большие привилегии в данном обществе, либо практически полностью их лишаются. Следовательно, синий цвет кожи в данной ситуации окажется признаком, препятствующим социальной энтропии.

Отметим, кстати, что всегда возможно найти или изобрести черты, которые в любое время могут сдерживать энтропию. Возможность ввести в обиход понятие, применимое к той или иной группе людей, существует всегда. Но возникающие вследствие этого противозэнтропические свойства, заключенные в этом понятии, будут представлять интерес только в том случае, если они естественны для данного общества и распространены в нем, а не вымышлены специально, с определенной целью. Так, неравномерное их распределение среди более широких слоев общества может повлечь за собой осложнения.

Дальнейшие выводы напрашиваются сами со-

* Таланту — открытая дорога к карьере (фр.).

бой: сдерживающие энтропию признаки оказываются серьезной проблемой для индустриального общества. Совершенно противоположное можно сказать об аграрном обществе. Отнюдь не считая сдерживающие энтропию признаки чем-то зазорным, общество такого типа обычно изобретало их, особенно если полагало, что природа обделила его этим достоянием.

Такому обществу было выгодно, чтобы одни категории людей считались по происхождению правителями, а другие — рабами, причем, чтобы заставить людей принять подобное положение вещей и внутренне с ним смириться, применялись карательные и идеологические меры. Общество выискивало малопривлекательные врожденные или приобретенные человеческие свойства, специально с целью сдерживания энтропии.

У племенных народов, исповедующих ислам, те, кто составляет религиозную верхушку, иногда считаются узаконенными потомками Пророка; статус кочевых племен Центральной Азии нередко определяется тем, восходят ли они к роду Чингисхана; европейские аристократы часто причисляют себя к потомкам особой этнической группы завоевателей.

В индустриальных обществах сдерживание энтропии ведет к разладу, а иногда влечет за собой поистине непреодолимые осложнения. Чем же отличается подобный разлад от тех противоречий, которые возникают вследствие культурных различий, а также проблем коммуникации, имевших

место на ранней стадии развития индустриального общества и обсуждавшихся в предыдущей главе.

Оба эти феномена в определенном отношении близки друг другу и в чем-то совпадают. Но не менее важны и имеющиеся между ними различия. Неравный доступ к языку и культуре более развитого в политическом и экономическом отношении центра и удерживание коренных жителей в рамках местных культур, что часто возбуждает в них и в их лидерах культурный и политический национализм, безусловно, являются своего рода сопротивлением энтропии. Рабочим-мигрантам, не владеющим даже диалектным вариантом основного государственного языка, которым пользуются чиновники и предприниматели, именно по этой причине будет изначально отведено место внизу социальной иерархии. Из-за этого у них будет меньше возможностей покончить с несправедливостью, касающейся не только их самих, но и их детей. С другой стороны, когда их язык (или скорее нормативный, упрощенный вариант одного из его диалектов) станет языком системы образования, государственных учреждений и делового общения получившего независимость национального государства, именно эти неудобства исчезнут, а культурные особенности больше не будут препятствовать энтропии.

Важно также отметить, что в нашем воображаемом случае они бы смогли преодолеть трудности и путем ассимиляции со старым господствующим

языком и господствующей культурой, и именно этот путь в действительности оказался более предпочтительным для многих. Нет оснований считать, что тех, кто пошел по такому пути оказалось меньше, чем сделавших националистический выбор. На самом деле многим пришлось пройти и тот, и другой путь либо последовательно, либо одновременно*. К примеру, многие стали националистами во имя культуры, не являвшейся для них родной по их происхождению, то есть вначале ассимилировавшись, а затем вступив в политическую борьбу во имя обретения их новой культурой полного статуса «высокой культуры», находящейся под защитой государства.

Но что решительным образом отличает такое положение от других видов сдерживания энтропии, так это следующая особенность: если проблема сводится лишь к коммуникативному барьеру (правда, обычно он сочетается с общим положением и экономической отсталостью), то, значит, есть два уже упоминавшихся способа исправить положение: успешный национализм, или ассимиляция, или сочетание того и другого. Но существуют такие формы сопротивления энтропии, имеющие социальные последствия, которые не поддаются устранению при помощи ликвидации коммуникативной недостаточности. Например, когда второй путь — ассимиляция при помощи образования — исключен или когда причиной являет-

* Colonna F. Instituteurs Algériens, 1883 — 1939. Paris, 1975.

ся не только существование коммуникативного барьера. Или если первый путь (а именно успешный ирредентизм [2]) также будет прегражден из-за баланса политических сил, ситуация станет угрожающей и будет продолжать нагнетаться.

Невозможность общения, ситуация, в которую попадают мигранты — носители чужой культуры в индустриализующейся области, — это также форма сдерживания энтропии (хотя часто она легко преодолевается при жизни одного поколения). Правда, последнее происходит не всегда, и не все формы сдерживания энтропии сводятся к невозможности общения. Те же формы сдерживания энтропии, которые возникают не из-за невозможности общения и не поддаются устранению путем ассимиляции с доминирующим сообществом или путем создания новых независимых сообществ на основе родной для мигрантов культурной среды, могут вести к более трагическим результатам. Эта проблема легко может превратиться в одну из главных угроз для индустриального общества, и решения ей пока не найдено.

Вернемся к придуманной нами ситуации — в обществе имеется подгруппа лиц с синей пигментацией, и представим себе, что по какой-либо причине эта популяция сосредоточена внизу социальной лестницы. Индустриальные общества предоставляют своим гражданам очень широкий спектр социальных позиций, причем одни из них имеют явные преимущества перед другими. В то же время для таких обществ характерным явля-

ется равенство в том смысле, что система возможных социальных позиций образует своего рода континуум, непрерывное множество (практически не имеющее внутренних барьеров и разрывов), а также в том, что, согласно широко распространенному мнению — пусть несколько преувеличенному, но не лишенному доли истины, — социальное продвижение возможно и вверх, и вниз и какие-либо жесткие социальные барьеры на пути движения в такой системе являются незаконными. Во всяком случае, индустриальное общество по сравнению с большинством аграрных обществ удивительно эгалитарно, и в развитом индустриальном обществе происходит отчетливое слияние различных стилей жизни и значительное уменьшение социальной дистанции. Но в нашем гипотетическом случае, когда синяя популяция сконцентрирована в социальных низах, сочетание двух обстоятельств — легкой узнаваемости (синий цвет очень привлекает к себе внимание) с неравномерным сдерживающим энтропию распределением этой категории людей (синих) в обществе — влечет за собой самые неблагоприятные последствия.

Можно смело сказать, что различные народности часто наделены от природы различными способностями. Утверждать, что все таланты распределены среди человечества поровну, — это все равно, что представить себе землю совершенно плоской. В то же время, когда вопрос касается применения способностей, социальные факторы

оказываются, несомненно, куда важнее, чем врожденные дарования. Некоторые народы, чьи имена в последние столетия связывались с высшими достижениями цивилизации, были отсталыми дикарями за несколько поколений до этого. Сомнительно, чтобы их генетический аппарат серьезно изменился за короткий период, понадобившийся им, чтобы уйти от варварства и приобрести всемирно-историческое значение; и это только подтверждает нашу мысль. Данная проблема вовсе не заслуживает того, чтобы уделять ей слишком много внимания, поскольку очевидно, что по уровню способностей представители одной этнической или расовой группы отличаются между собой гораздо больше, чем в среднем эти группы друг от друга.

Все это позволяет сделать очень важный вывод. В нашем случае синие сконцентрированы внизу и даже можно допустить, что в среднем их способности будут ниже по сравнению с другими группами, распределяющимися в обществе более произвольно. Неизвестно, действуют ли здесь генетические или социальные факторы. Лишь одно можно утверждать наверняка: среди синей популяции будет много людей более способных, лучше приспособленных к любым видам полезной деятельности, чем значительное число представителей других групп основного, несинего населения.

Что же произойдет далее в той ситуации, которую мы описали? Сочетание синего цвета кожи и низкого положения в обществе вызовет анта-

гонизм, предубеждение против синих. Если те, кто находится внизу, оказались там каким-то образом случайно, а не из-за цвета своей кожи, то предубеждение по отношению к ним не может основываться на каком-либо специфическом признаке, так как их низкое положение не связано именно с этим признаком *ex hypothesi**. Но если многие из находящихся внизу окажутся синекожими, то предвзятое отношение к ним, проявляющееся со стороны тех, кто находится немного выше и опасается притеснений, неизбежно будет основываться на синем цвете их кожи. Именно несиние группы, расположенные внизу социальной лестницы, будут испытывать особую неприязнь к синим, и, обладая всего одним маленьким драгоценным достоинством, предметом своей гордости, они будут с особым упорством подчеркивать это свое единственное жалкое отличие — несиний цвет кожи.

Тем не менее очень многие из синих будут пробиваться наверх, вопреки предвзятому к ним отношению. Концентрация синих внизу будет лишь статистической, и многие из них (даже если их окажется меньшинство среди синей субпопуляции) с помощью напряженного труда, благодаря способностям или везению поднимутся наверх и добьются более высокого положения. Что же произойдет с ними?

Мы приняли как условие, что синий цвет кожи

* Предположительно (*лат.*).

не поддается устранению. Таким образом, путь синих наверх будет мучительным и потребует колоссального напряжения. Каковы бы ни были их личные достоинства, для их случайных, несиних знакомых и всех, с кем им доведется встретиться (а для мобильного, сложного индустриального общества многочисленные и часто спонтанные контакты не только типичны, но имеют существенное значение), они по-прежнему будут оставаться «грязными, ленивыми, бедными и невежественными синими», так как именно эти качества ассоциируются с самой низкой ступенью социальной лестницы.

Следовательно, положение пытающегося подняться наверх синего будет немногим лучше положения рабочего-мигранта из Руритании, о котором шла речь в нашем предыдущем примере. Но все же одно бесспорное различие нельзя сбросить со счетов — принадлежность к руританской культуре можно скрыть, синий цвет кожи — нельзя. Мы также установили, что у руританцев имела исконная территория, то есть такая область, «Руританская отчизна», где большинство населения составляли крестьяне, говорящие на одном из руританских диалектов. Итак, у руританцев было два выхода: или ассимиляция с языком и культурой Мегаломании, или образование процветающей независимой Руритании, где их местный диалект приобрел бы статус официального и литературного языка. Каждая из двух возможностей с успехом использовалась разными

людьми и в разных условиях. Согласно нашей гипотезе, первый из этих двух вариантов не подходит для синих. Что бы они ни делали, их пресловутая синяя кожа останется при них. Более того, культура Мегаломании является старой, и ее давние, устоявшиеся представления о себе исключают синий цвет кожи.

Что сказать о втором варианте — установлении национальной независимости? Как показывает исторический и современный опыт, народы, чье положение сходно с положением наших воображаемых синих, могут иметь, а могут и не иметь собственной территории. В первом случае у них есть хотя бы одна из двух возможностей, доступных руританцам, и если она осуществима в политическом и военном отношении, то они могут ею воспользоваться. Если наши воображаемые синие все-таки не имеют в своем распоряжении исконной территории, на которой они могут реально надеяться основать независимое Государство Синих; или, напротив, если у них есть территория, но эта их Синяя Родина по той или иной причине слишком скудна и непривлекательна, чтобы стать надежным прибежищем для синих, разбросанных по другим регионам, то их дела совсем плохи.

В такого рода ситуации серьезные социологические препятствия, не поддающиеся устранению законным и мирным путем, или посредством ирредентизма и политической активности, преграждают путь к культурной однородности и социальной энтропии, которые в развитом индустри-

альном обществе являются не просто нормой, но — как представляется — и условием его бесконфликтного функционирования. Если подобное сдерживание энтропии происходит систематически, оно может превратиться в одну из самых страшных опасностей, грозящих индустриальному обществу. Однако если для синих народностей отрезаны оба пути — и постепенная ассимиляция, и независимость, — другие народности могут с успехом воспользоваться обеими возможностями. В федеральном государстве народы, вроде наших вымышленных руританцев, могут иметь автономную Руританию, где руританский язык является государственным и одновременно благодаря небольшой культурной дистанции между их культурой и другими культурами федерального государства, а также отсутствию внешних отличий у ассимилированных руританцев, они могут плавно, беспрепятственно, энтропическим путем влиться в более широкое общество. Я полагаю, дело самих руританцев решать, стоит ли это двойное преимущество цены, которую приходится платить за него; учитывая что Руританский кантон или автономная федеральная республика не будут полностью независимыми. Иногда те, кто оказался в ситуациях, сходных с описанной, остаются внутри более обширного федерального государства добровольно; в других случаях их силой лишают возможности выбора. В первом случае примером может служить Квебек [3], во втором — Иболенд [4] в Нигерии.

Таким образом, возникает вопрос: какие же существующие в реальном мире признаки напоминают «синеву» из нашего вымышленного примера? Генетические признаки — это один из примеров подобной «синевы», но всего лишь один, тогда как другие примеры — не генетические, — по меньшей мере столь же существенны. Следует также добавить, что далеко не каждый передающийся по наследству признак может способствовать расслоению общества. Рыжеволосых детей иногда дразнят в детстве, в то время как рыжеволосых женщин часто считают наиболее привлекательными. Более того, известно, что в некоторых этнических группах заметно бóльшая доля рыжеволосых людей, однако ни сам по себе этот факт, ни связанные с ним народные поверья никогда не считались причиной конфликтов или социальных проблем.

Отчасти это можно объяснить, используя введенный ранее термин, тем, что рыжий цвет волос является классическим энтропическим признаком несмотря на якобы возможные этнические связи. Физическим признакам в том случае, когда они являются генетическими, но не имеют прочных исторических или географических ассоциаций, свойственна энтропическая направленность. Поэтому если от них в некоторой степени и зависит наличие или отсутствие социальных преимуществ, то они обычно остаются социально не отмеченными. Противоположным образом лишь в Руанде и Бурунди такой показатель, как рост, очень свое-

образно соотнесен с этнической принадлежностью и политическим статусом как фактически, так и идеологически в связи с тем, что завоеватели-скотоводы превосходили ростом местных земледельцев, а те и другие оказались выше пигмеев [5]. В большинстве других обществ такое соотношение слишком непрочное, чтобы иметь социальную значимость. Учащиеся Итонского колледжа [6] оказываются в среднем чуть выше остальных школьников, но никому не придет в голову относить стоящих в карауле высоких гвардейцев к высшему классу.

Физические или передающиеся генетически признаки — это лишь один из возможных видов «синевы». Есть ли другие? Крайне существенным и необычайно интересным является то обстоятельство, что некоторые глубоко укоренившиеся в нас религиозно-культурные навыки столь сильны и устойчивы, что порой могут по значению не уступать признакам, заложенным в нашей генетической конституции. Язык и формальные основы религиозных вероучений оказываются не столь глубоко заложенными в нашу культуру, и их легче сменить. Но для некоторых народов тот набор внутренних и неотъемлемых ценностей и установок, которые в аграрный век обычно неотделимы от религии (независимо от того, воплощены ли они в официальной теологической доктрине), часто оказывается настолько жизнеспособным, что продолжает действовать как яркий маркирующий знак. Например в те времена, когда Алжир был

официально признан частью Франции, ассимиляции алжирских рабочих-мигрантов не мешали никакие физические или генетические различия между, скажем, кабилами [7] и крестьянами юга Франции. Непреодолимая пропасть, разделявшая два народа и препятствовавшая ассимилятивному растворению, была культурной, а не физической. Глубочайшие причины конфликта в Ольстере ни в коем случае не сводятся к коммуникативной пропасти между двумя общинами [8], они скорее связаны с приверженностью к одной из враждующих местных культур, которая является столь стойкой, что сопоставима лишь с физическими признаками, хотя в действительности имеет чисто социальное происхождение. Террористические организации, чьи теории или, скорее, лозунги являются какой-то рыхлой формой современного революционного марксизма, на самом деле пополняют свои ряды исключительно за счет сообществ, некогда четко выделенных своей религиозной верой и до сих пор определяемых культурой, глубоко связанной с данной верой.

Потрясающее и необычайно показательное событие произошло недавно в Югославии. Бывшее мусульманское население Боснии [9], прилагая напряженнейшие усилия, добилось наконец-то права называть себя «мусульманами», заполняя графу «национальность» во время переписи. Это не означало, что эти люди оставались правоверными, соблюдавшими все религиозные обряды мусульманами, и тем более не означало, что они

причисляли себя к одной национальности с другими мусульманами или бывшими мусульманами Югославии, например албанцами из Косово. Они являются носителями сербохорватского языка, славянами по происхождению, но с мусульманским культурным наследием. Что они хотели подчеркнуть, так это нежелание относить себя ни к сербам, ни к хорватам (несмотря на общий с сербами и хорватами язык), поскольку это подразумевало *принадлежность в прошлом* соответственно либо к православным, либо к католикам. Понятие «югослав», с их точки зрения, было слишком абстрактным, обобщенным и невыразительным.

Они предпочли назвать себя «мусульманами» (и наконец-то получили на это официальное разрешение), подразумевая при этом боснийцев — славян-мусульман, ощущающих себя единой этнической группой, пусть и не отличающейся лингвистически от сербов и хорватов, хотя отличающее их вероисповедание в настоящее время ими утрачено. Судья Оливер Уэнделл Холмс однажды заметил, что для того, чтобы считаться джентльменом, не обязательно знать латынь и греческий — важно их забыть. В наши дни, чтобы быть боснийцем-мусульманином, не обязательно верить, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — его Пророк [10], скорее необходимо утратить веру в это. Момент перехода от религии к культуре, к ее соединению с этнической принадлежностью и в итоге с государством очень тонко проиллюстрирован репликой из пьесы Антона

Чехова «Три сестры», где дан классический пример роли военных в развивающейся стране:

Тузенбах: «... Вы, небось, думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный...»

Барон, несмотря на свою тевтонскую фамилию и, вероятно, происхождение, отстаивает свою славянскую принадлежность, ссылаясь на приверженность Православной церкви.

Это вовсе не означает, что всякая религия доиндустриальной эпохи будет пытаться предстать в новом облике этнической единицы в «плавленном котле» индустриальной цивилизации. Такой взгляд был бы абсурден. С одной стороны, как в случае с языком или культурными различиями, аграрный мир часто даже перенасыщен религиями. Их было слишком много. Их число значительно превышало число этнических групп и национальных государств, которые в состоянии вместить в себя современный мир. Поэтому всем им и не удалось сохраниться (даже видоизменившись, в качестве этнических единиц), сколь бы прочными они ни были. Более того, так же как и языки, многие из них оказались не такими уж жизнестойкими. Только высшие религии, подкрепленные письменной традицией и особым слоем служителей, иногда, но отнюдь не во всех случаях становятся в индустриальном мире основой новой групповой идентификации, осуществляя переход, если мо-

жно так выразиться, от культуры-религии к культуре-государству. Таким образом, в аграрном мире высокая культура сосуществует с низкими культурами и нуждается в церкви (или по крайней мере в группе профессиональных служителей), которые бы поддерживали ее существование. В индустриальном обществе преобладают высокие культуры, но они нуждаются в государстве, а не в церкви, причем в государстве нуждается *каждая* из них в отдельности. Это одно из объяснений происхождения эпохи национализма.

Высокие культуры имеют тенденцию становиться основой новой национальности (как было в Алжире), где в преддверии национализма религия отделяла достаточно четко *все* непривилегированные классы от привилегированных даже или в особенности тогда, когда непривилегированные не имели никаких других общих отличительных характеристик (таких, как язык или общая история). По мнению Фархата Аббаса [11], одного из первых виднейших вождей национального движения в Алжире, алжирской нации не существовало до начала национального пробуждения в этом столетии. Существовало обширное исламское сообщество и целый ряд более мелких сообществ, но ничего общего с теми жителями, что заселяют сегодняшнюю национальную территорию. В такой ситуации действительно рождается новая нация, которая может быть определена как общность, включающая всех приверженцев определенной веры на определенной территории. (В

наши дни в случае с палестинцами язык, культура и общие беды, а не общая религия служат причиной подобной кристаллизации.) Для того чтобы играть диакритическую, определяющую нацию роль, религия должна фактически полностью видоизмениться, как это и случилось в Алжире: в XIX веке алжирский ислам с его преклонением перед божественным посредничеством, преследуя практические цели, вбирал в себя сельские верования и культы святых. В XX веке ислам отмел все это, отождествившись с реформированным Письменным законом, отрицающим какое бы то ни было посредничество между человеком и Богом. С помощью культов выделялись племена и очерчивались их границы, с помощью письменного учения могло осуществиться и осуществилось выделение нации.

ТРЕЩИНЫ И БАРЬЕРЫ

Вернемся еще раз к нашему основному положению. Индустриализация порождает мобильное и культурно однородное общество, которое стремится к равноправию и провозглашает этот принцип, чего никогда не было в прежде стабильных, стратифицированных, догматических и абсолютистских аграрных обществах. И в то же время на ранних стадиях развития индустриального общества в нем возникает резкое, болезненное и очень заметное неравенство, усугубляемое конфликтами, связанными с тем, что занимающие менее выгод-

ное положение в этот период могут оказаться не только относительно, но и абсолютно обездоленными. В этой ситуации — надежды на равенство и реального неравенства, обездоленности, желанной, но еще не достигнутой культурной однородности — внутренняя политическая напряженность становится очень сильной и выходит на поверхность, особенно если имеет в своем распоряжении подходящие символы, очевидные диакритические знаки для того, чтобы отделить управляющих от управляемых, привилегированных от непривилегированных.

Соответственно для этой цели могут использоваться язык, генетические признаки («расизм») или только культура. Крайне существенным оказывается то обстоятельство, что для обществ в процессе индустриализации вопрос коммуникативной системы и, следовательно, культуры приобретает новое и беспрецедентное значение. Значение коммуникативной системы возрастает из-за многообразия, взаимозависимости и подвижности производственной жизни, которая требует куда более многогранной, сложной, точной информации разнообразного содержания, чем когда-либо ранее.

Среди культур именно культуры, связанные с высокой (письменной) религией, чаще всего берут на себя роль выразителей недовольства. Местные народные верования и местные культуры, как и мелкие диалекты, вряд ли могут предъявлять такие претензии. Во время начально-

го периода индустриализации низкие культуры, разумеется, подвергаются попыткам превратить их в диакритические знаки обездоленных и используются для того, чтобы выделить и объединить их, если они подают надежды в политическом отношении и, главное, представляют собой большое, сосредоточенное более или менее компактно на одной территории население. На этой начальной стадии контраст между привилегированными и непривилегированными становится не единственным: на него накладывается контраст между теми, кому обеспечен легкий доступ к новому образу жизни и необходимому для этого образованию, и теми, для кого этот доступ затруднен (легкостью или затрудненностью общения), между носителями высокой и низкой культуры.

Этот тип переходного поколения представляет собой некое ненадежное образование, для которого решающим оказывается недостаток коммуникации, поскольку он подчеркивает и выявляет объективные различия. Позже благодаря общему развитию коммуникативные барьеры и неравенство сглаживаются, и, когда общий индустриальный образ жизни вынуждает людей общаться, преодолевая языковые различия, наиболее существенными становятся скорее устойчивые неравномерно распределенные признаки («сдерживающие энтропию»), независимо от того, являются они генетическими или связаны с культурной традицией. На этой стадии преобразование бывших, низких культур в новые, высокие с тем, чтобы пре-

вратить их в знамя, вокруг которого могла бы сплотиться большая категория обездоленных, прежде не имевших возможности объединиться, уже не столь вероятно. Период жесточайшей нищеты, неорганизованности, полуголодного существования, полнейшего отчуждения низшего слоя завершен. Волнения теперь реже возникают по каким-либо объективно невыносимым причинам, так как лишения становятся, если можно так выразиться, «относительными», а их причины коренятся прежде всего в неравномерном распределении в обществе некоторых отчетливо видимых и обычно замечаемых всеми признаков.

Различие между двумя стадиями — ранней и поздней — можно объяснить следующим образом. На ранней стадии существует чудовищная разница между возможностями обеспеченных людей и голодающих бедняков; между теми, кто способен легко плыть по новому морю индустриализации, и теми, кто лишь мучительно учится этому. Даже в этом случае — вопреки утверждениям марксизма — конфликты редко обостряются или непомерно разрастаются, пока привилегированным и всем прочим не удастся отделиться друг от друга в культурном и «этническом» отношении. Но если такого рода отделение возможно, тогда, вообще говоря, рождается новая нация (или нации), и она может сплотиться как вокруг высокой, так и вокруг прежней, низкой культуры. Если высокая культура не является доступной и пригодной к немедленному употреблению или уже под-

хвачена соперничающей группой, тогда имеющаяся низкая культура преобразуется в высокую. Это эпоха зарождения (или якобы «возрождения») наций и преобразования низких культур в новейшие письменные высокие.

Следующая стадия имеет отличия. Это уже не та ситуация, когда резкое, имеющее объективные причины социальное недовольство или острое социальное неравенство пользуются любым поводом, любыми доступными старыми культурными различиями, если могут создать новую преграду, а иногда и новую границу. Теперь только настоящая преграда для мобильности и равенства, особенно если она тормозит свободное определение, создает такую новую границу. Эта разница весьма существенна.

РАСХОЖДЕНИЕ ФОКУСА

Существует ряд особых случаев, заслуживающих отдельного разговора. Исламская цивилизация аграрной эпохи наглядно проиллюстрировала наш тезис о том, что аграрные общества не стремятся использовать культуру для определения политических единиц; другими словами, у них нет необходимости становиться националистическими. Свободное сословие *улемов* — ученых, богословов и толкователей законов *, — являвшееся опорой и нравственным ориентиром всего тради-

* См.: N. Keddie (ed.). *Scholars, Saints and Sufis*. Berkeley, 1972; Gellner E. *Muslim Society*. Cambridge, 1981.

ционного мусульманского мира, было трансполитическим и трансэтническим, а не привязанным к определенному государству или к одной «нации» (особенно после того, как распался средневековый халифат с его монополистическими притязаниями обеспечить уникальную политическую крышу всему исламскому сообществу). С другой стороны, народный ислам культов и божественного посредничества был субэтническим и субполитическим (по крайней мере в случае крупных единиц, напоминавших исторические и «национальные» государства), способствуя укреплению обороны и поддерживая самоуправление этих единиц (племен). Таким образом, ислам был внутренне разделен на высокую и низкую культуры, разумеется взаимопроникающие и находящиеся в теснейшей взаимосвязи, но и периодически вступавшие в конфликт, особенно когда «воспоминания» возрождали якобы истинный дух высокой культуры и объединяли соплеменников в интересах борьбы за чистоту происхождения и политическое процветание. Но подобные перемены, хотя и происходили достаточно часто, не производили глубоких коренных изменений. Менялись действующие лица, а не принцип общественного устройства *.

С приближением рождающейся в муках модернизации все меняется. Мы пришли к заключению, что наряду с другими изменениями это означает

* Khaldun Ibn. The Muqaddimah (Tr. F. Rosenthal). London, 1958.

замену разнообразных местных низких культур стандартизированными, формализованными, систематизированными, имеющими письменность высокими культурами. Но ход истории идеально подготовил исламское общество к такому развитию. Внутри него сосуществовали высокая и низкая культуры. Обе имели одно название, не всегда были легко различимы и часто, намеренно объединяясь и смешиваясь, были связаны друг с другом. И та и другая могли быть и были способом чистосердечного и пылкого приобщения к исламу (предположительно не имевшему себе равных) как к последней, абсолютной, бескомпромиссной требующей полнейшей отдачи степени откровения. Ислам не имел церкви, но церковь, которой он не имел, была не догматичной. В современном мире низкий, или народный, вариант ислама может признаваться или не признаваться как искаженный, если попросту не вымышленный и навязанный чужеземным врагом-колонизатором, в то время как высокий вариант становится культурой, вокруг которой может выкристаллизоваться новый национализм. Легче всего это сделать той лингвистической группе, чей язык близок к языку божественного откровения. Столь же возможно это в случаях, когда вся нация исповедует ислам, но окружена соседями-немусульманами (сомалийцы, малайцы); или когда все население, подвергающееся дискриминации, хотя и не однородно лингвистически, но является целиком мусульманским и при этом противопоставлено находя-

щимся у власти привилегированным немусульманам (Алжир); или если нация, обычно причисляющая себя к одному из ответвлений ислама, выражает свой протест против секуляризации и прозападной ориентации правящего класса и против немусульман-иностранцев (Иран).

Своеобразие ислама может стать еще нагляднее, если мы вновь возвратимся к нашей основной теме. Аграрная эпоха развития человечества — это период, когда читать умеют лишь некоторые, в то время как большинство не умеет. В индустриальную эпоху все умеют и все вынуждены читать. В аграрную эпоху письменная высокая культура сосуществует с бесписьменными, низкими народными культурами. В переходный период между двумя эпохами некоторые в прошлом низкие культуры становятся новыми высокими культурами, и иногда новая высокая культура может быть создана или воссоздана при посредничестве политической власти и с помощью культурного строительства, основывающегося на элементах, заимствованных из далекого прошлого и собранных воедино с тем, чтобы получить в итоге нечто совершенно новое, как, например, в Израиле.

Однако высокие культуры, пережившие переходный период, перестают быть достоянием и отличительной особенностью одного лишь духовенства или двора, а становятся достоянием и эмблемой «нации» и одновременно переживают другое любопытное преобразование. Когда их носителями были двор, придворный слой или духовенство,

их отличала трансэтническая или даже трансполитическая направленность и они с легкостью перемещались в соответствии с интересами данного двора или данного духовенства. С другой стороны, они были подвержены сильному влиянию обычно жесткой, догматической теологии и свода доктрин, определявшихся данным духовенством и узаконенных данным двором.

Типичное для письменной идеологии аграрной эпохи представление о содержании данной доктрины как о единственно возможном усиливалось тем, что оно объявлялось не просто истиной (ну и что из того?), а именно *нормой* истины. В то же время все еретики и неверные, осмелившиеся всего лишь выразить сомнения в непререкаемости истины, яростно проклинались и обвинялись в моральном падении, в «порочности на земле», как гласит расхожая фраза в смертных приговорах нынешнего возрожденного аграрно-религиозного режима, господствующего сейчас в Иране. Эти идеологии подобны крепостям — *Eine feste Burg ist mein Gott **, — в стенах которых находятся все запасы воды, и потому врагам до них не добраться. Им принадлежит не просто монополия на истину (вполне обычное явление), но, самое главное, на самые ее источники и критерии. Колодцы находятся внутри укреплений, и это решает все, так как враг не может до них добраться.

В аграрную эпоху это в полной мере удовле-

* Надежная крепость — вот мой Бог (нем.).

творяло эти идеологии и даже давало им большие преимущества, поскольку их противники — нежизнеспособные народные религии — в лучшем случае были равносильны им, а как правило, даже уступали им в силе и изощренности. Индустриальная эпоха основывается на развитии экономики, в свою очередь зависящем от развития знаний, утвержденном (и в значительной степени укрепленном) картезианством и эмпиризмом. Их задача заключалась в деабсолютизации всех вещественных представлений о мире и подчинении всех, без исключения, понятий беспристрастному изучению с помощью таких критериев, как «опыт» и «свет разума», и находящихся вне пределов и границ какой-либо из систем верований. Это подрывало их абсолютистские претензии, поскольку вынуждало обращаться к судье, находящемуся вне сферы их влияния. Факт становится королем или по меньшей мере делателем королей. Источники истины теперь располагаются на нейтральной территории, и никто не имеет права претендовать на них.

Это, во всяком случае, чисто интеллектуальная, теоретическая сторона той сложной истории, за ходом которой здесь трудно проследить и из-за которой абсолютистские высокие культуры аграрной эпохи вынуждены скрывать свой абсолютизм и допускать, чтобы источники истины оказались под общественным и нейтральным контролем. Короче говоря, высокие культуры ценой секуляризации становятся языком всех наций на

данной территории, а не только языком церкви. Они скрывают свой абсолютизм и претензии на абсолютное знание и больше не привязаны к определенной доктрине. Испания, где удерживался в течение поразительно долгого срока националистический режим, использовавший абсолютистские притязания католицизма в своих целях для создания образа нации, представляла один из самых поздних примеров такого рода. При первых робких шагах франкистской либерализации идея легализации публичных протестантских богослужений была отклонена как несовместимая с испанским национальным единством и самоопределением. Абсолютная доктрина для всех и высокая культура для *некоторых* становятся абсолютной культурой для *всех* и доктриной для *некоторых*. Церковь вынуждена подчиниться требованию повсеместного распространения, если она хочет захватить все общество. Великая Традиция вынуждена отказаться от своей прежней узаконенной доктрины, если ей суждено стать всеобщей и универсальной культурой.

То, что когда-то было языком для некоторых и предписывалось в качестве обязательной веры всем, теперь становится обязательным языком для всех и несерьезной, расплывчатой и «воскресной» верой для некоторых. Это общая судьба всех высоких культур, если они переживают эту стадию перехода. В классическом случае Северо-Западной Европы можно сказать, что процесс прошел даже две стадии: Реформацию, сделавшую

общение с Богом доступным для каждого и объединившую народный язык и язык литургии, и Просвещение, секуляризовавшее новое духовенство и новый национальный язык, более не привязанный к определенной доктрине или классу.

Любопытно было бы представить, что случилось бы в Западной Европе, если бы индустриализация и все то, что с ней связано, начались в эпоху позднего средневековья, до развития народных литератур и появления того, чему было суждено стать основой различных национальных высоких культур.

Перспектива развития была, безусловно, у церковного латинского или романского национализма, особенно в сравнении с местными национализмами, которые вырабатывались, подвергая секуляризации уже не трансполитическую церковную высокую культуру, а скорее полуцерковную, полупридворную. Если бы все это случилось ранее, то панроманский национализм получил бы такую же поддержку, как панславизм, столь серьезно воспринятый в девятнадцатом столетии, или панарабский национализм в двадцатом, также основанные на общей церковной высокой культуре, сосуществующей с огромным числом разновидностей на низком, или народном, уровне.

Претерпевая множество одновременных преобразований, именно в таком состоянии находится ислам. Наиболее протестантский из всех великих монотеизмов, он постоянно подвергается реформации (ислам можно было бы назвать перма-

нентной Реформацией). Одна из множества его последовательных самореформаций, по существу, совпала с зарождением современного арабского национализма и может быть лишь с большим трудом отделена от него. Образование нации и победа реформистского движения представляются частями одного и того же процесса. Распад прочных старых и родовых местных структур, чьи жуткие призраки могут порой сохраняться как некие общие рамки новой централизованной политической структуры, идет рука об руку с ликвидацией культов святых, поддерживавших в прошлом мелкие общинные организации, и с их заменой реформированной индивидуалистической унитаристской теологией, оставляющей верующего один на один с Богом и с обширным, анонимным, не нуждающимся в посредничестве обществом, которое, по существу, и является идеалом националистических устремлений.

Другие высокие культуры осуществляют переход ценой отказа от приверженности прежней доктрине. Содержание доктрин, которых они длительное время придерживались, демонстрирует столь очевидную абсурдность и беспомощность в эпоху эпистемологических (опирающихся на факты) учений, что их прежние достоинства превращаются в недостатки. Их охотно и с радостью скрывают или превращают в «символические» знаки, указывающие на связь с прошлым, на то, что история сообщества уходит в глубь времен,

последовательно игнорируя при этом формальное содержание учений.

Это не относится к исламу. В аграрную эпоху ислам был двуликим Янусом. Одно его лицо было обращено к религиозно и социально разнородным сельским жителям и группам, другое было повернуто в сторону более требовательных, знающих, грамотных городских ученых. Более того, догма, ставшая для последних обязательной, была упрощенной, экономной и унитаристской настолько, что могла стать относительно приемлемой даже в новое время, когда причудливый груз, перевезенный ее соперниками на северное побережье Средиземноморья, оказался практически неприемлемым и должен подвергаться незаметному и бесшумному устранению. В таком проводимом исподволь устранении не было никакой надобности к югу от Средиземноморья — или, если быть точнее, оно уже было осуществлено открыто, с шумом во имя освобождения истинной веры от диких, деревенских, если вообще не привнесенных извне, предрассудков и искажений. Янус утратил одно из своих лиц. Так, в мусульманском мире, и особенно в его арабской части (включая нации, считающиеся «арабскими» и рассматривающие себя как «истинных», нормативных мусульман данной области), национализм, строящийся на едином анонимном территориальном сообществе, принимает доктрины, бывшие ранее достоянием духовного слоя, с гордостью и без колебаний. Идеалы *улема* (мусульманского духовенства)

становятся более реальными, по крайней мере внутри различных территорий государственных наций, чем во времена родовой раздробленности.

Изящность доктрины, простота, ограниченность, строгая унитарность, отсутствие перегруженности интеллектуальными излишествами помогли исламу лучше сохраниться в современном мире, чем другим религиям с более усложненными учениями. Но тогда возникает вопрос, отчего такая аграрная идеология, как конфуцианство [12], не сохранилась еще лучше. Ведь это вероучение было теснее связано с соблюдением нравственных устоев, порядка и иерархии и еще меньше концентрировалось на теологической или космологической догме.

Возможно, однако, что строгая и последовательная унитарность более действенна, чем безразличие к доктрине в соединении с требованиями морали. Нравственные устои и политические принципы агрограмотных обществ по современным меркам слишком неоднозначны. Именно поэтому конфуцианство, во всяком случае под тем же названием и в том же воплощении, не смогло стать приемлемым для современного общества.

Напротив, подчеркнуто чистая унитарность ислама вместе с неизбежной двусмысленностью его конкретных моральных и политических предписаний помогает в ситуации, когда одна и та же религия может одновременно узаконить традиционалистскую власть в Саудовской Аравии или Северной Нигерии и радикалистские

режимы Южного Йемена, Ливии или Алжира.

Политические заклинатели имеют возможность вырабатывать свой жаргон, основываясь на строгой теологии, в то время как они занимаются подтасовкой политических принципов по своему усмотрению, стараясь привлечь как можно меньше внимания. Унитарность с ее порой болезненным отречением от веры в духовное посредничество не разрешает сознанию верующих поддаться интеллектуальным преобразованиям, превратившим религию, которая некогда имела дело с наследованием верблюдов, в веру, предписывающую или запрещающую в зависимости от обстоятельств национализацию нефтяных богатств.

Если ислам уникален в том, что он позволяет распространить великую доиндустриальную духовную традицию на все общество и сделать ее религией нового образа жизни, то национализм многих африканских государств к югу от Сахары интересен как раз тем, что иллюстрирует другую крайность. Он не развивает и не создает местных высоких культур (что часто является затруднительным ввиду отсутствия местной письменной традиции) и не преобразует бывшую народную культуру в новую, письменную, политически узаконенную, как это часто бывало с национализмом европейским. Вместо этого он насаждает чужую, европейскую высокую культуру. Страны Тропической Африки, несомненно, являются лучшим опытным полем для апробирования применения неограниченной власти к принципу национализ-

ма, требующему слияния этнических и политических границ. Практически все без исключения политические границы африканских государств к югу от Сахары находятся в противоречии с этим принципом. Черная Африка унаследовала от колониального периода целую сеть политических границ, проведенных совершенно без учета и, как правило, без малейшего знания местных культурных или этнических рубежей.

Одной из самых примечательных и удивительных особенностей постколониальной истории Африки является едва ли не полное отсутствие националистических ирредентистских попыток исправить такое положение. Усилия, направленные на прекращение использования европейских языков в качестве государственных или приближение межгосударственных границ к этническим, предпринимались нерешительно и крайне редко. В чем здесь причина и почему национализм не заявил о себе в Черной Африке?

Мы уже предположили ранее, что существует дихотомия между «ранним» национализмом с недостаточно развитой коммуникативной системой (когда у перемещенного бывшего сельского населения возникают дополнительные трудности из-за невключенности в новую доминирующую культуру) и «поздним» национализмом, вызванным другими, некоммуникативными причинами. С точки зрения этого существенного различия африканский национализм в целом принадлежит к последнему, сдерживающему энтропию, ти-

пу. У его истоков мы не находим рабочих-мигрантов, наталкивающихся у фабричных ворот на грубое обращение мастера, говорящего на другом языке. Те, с кем мы встречаемся здесь,— это интеллектуалы, способные свободно общаться, но с точки зрения реальной власти относящиеся к категории, лишенной прав по одному определенному признаку — цвету кожи. Их объединяют общие лишения, а не общая культура. Явления, связанные с другими типами раннего национализма, в том числе и с недостаточно развитой коммуникативной системой, встречаются тоже и иногда имеют существенное значение. Основой национального конфликта в ЮАР служит именно положение африканского промышленного пролетариата, к примеру роль городских низов в возвышении Нкрумы [13] была совершенно очевидной.

Типичной для Африки оказалась следующая ситуация, сложившаяся под влиянием европейского господства: установление эффективной администрации, контролирование политических единиц и поддержание мира в крупных, выделившихся стабильных районах. Такое вмешательство было нагляднейшим примером крайней степени сдерживания энтропии. Правители и некоторые другие были белыми, а все остальные — черными. Трудно представить себе пример более простой и наглядный. Едва ли существовала политическая система со столь доступным и столь понятным ведущим принципом.

В традиционном аграрном мире такой принцип

мог быть преимуществом из-за неопределенности положения, неясности в распределении власти и всего, что сопутствовало этому. Это служило неплохой поддержкой стабильности и жизнеспособности системы. Такой принцип не был чужд и Африке, и некоторые местные политические структуры использовали его в разных вариантах. Завоеватели-аристократы азанде [14] имели этнически отличающихся от них подданных, а аристократия фулани [15] управляла многими городами-государствами Северной Нигерии.

Но подобный аграрный порядок уже нельзя было считать традиционным. Европейцы в Африке хотя и высказывали порой свое уважение к местным обычаям и признавали их влияние, должны были установить ориентированный на рынок, торговлю, образование («цивилизацию») и соответственно — индустриальный тип общества. Но по причинам, которые мы уже обсудили и потому не будем повторять, индустриальным обществам или обществам в процессе индустриализации глубоко чужды сдерживающие энтропию установления. Выше мы приводили ярчайший и нагляднейший пример этого! Это случай совсем не похожий на наш более ранний пример с категорией синих, сосредоточенных в низших слоях общества, или на европейский ирредентистский национализм. Здесь налицо совсем другое — небольшое число белых управляет большим, иногда огромным числом черных. Национализм, вызванный этим, был просто соединением всех

черных, небелых, живущих на данной исторически-случайной территории, объединенных посредством нового административного механизма.

После завоевания независимости в борьбе за управление отвоеванными государствами противники обычно опирались на ту или иную традиционную, существовавшую ранее этническую группу. Тем более поразительным фактом остается неизменность этнически не обусловленных границ, произвольно намеченных колонизаторами, и продолжающееся использование колониального языка в сфере образования и управления. Покалуй, было бы преждевременно решать, смогут ли со временем эти общества достигнуть внутренней однородности, мобильности и сделать общедоступным образование, продолжая пользоваться колониальным языком, или в какой-то момент они предпримут попытку самопреобразования, заключающуюся в модернизации, приспособлении и использовании одного из местных языков. Такой процесс начался, например, в Алжире и заключался в его исключительно болезненной «арабизации», которая на практике означала привязывание чужого литературного языка к местным арабским и берберским диалектам*. В Черной Африке возвращение к местным языкам сдержи-

* Roberts Hugh. The Unforeseen Development of the Kabyle Question in Contemporary Algeria.— "Government and Opposition", 1982, vol. XVII, № 3.

Зародившийся кабийский национализм интересен тем, что он выражает чувства бывшего мелкого крестьянина, благо-

вается не только удобством использования чужих языков с их учебниками и налаженными международными контактами, длительным использованием его правящей элитой и местной языковой раздробленностью, распространенной значительно больше, чем в Европе. Существен и тот факт, что выбор одного из местных конкурирующих языков был бы воспринят как вызов теми, для кого он не является родным, а они, как правило, составляют большинство, часто сильно преобладающее.

По этим причинам африканские этнические группы, которые были связаны с письменными высокими культурами посредством принятия мировых религий, ислама или христианства, оказались лучше приспособленными для успешного развития национализма. Лучшие примеры того, что можно назвать классическим национализмом, дает нам Африканский Рог [16] — регион, где борьба между двумя этими вероучениями продолжалась, традиционно не принося решающей победы ни одному, ни другому. Известно, что буры отличались от своих врагов банту, когда и те и другие входили с разных сторон в Южную Африку, только тем, что у них имелось Писание, колесо и ружье. На Африканском Роге и у амхара, и у сомалийцев было и ружье, и Писание (не

получно преодолевшего городскую миграцию, не утратив своих сельских корней. В подобном же положении оказались баски. См.: Heiberg Marianne. Insiders/outsiders: Basque nationalism.—“European Journal of Sociology”, 1975, vol. XVI, № 2.

одно Писание, а противопоставленные друг другу разные его варианты), а колесо равно не волновало ни тех, ни других. Каждая из этих этнических групп получала поддержку, используя именно эти два предмета культурного обихода, поскольку через них осуществлялась связь с другими членами более обширных религиозных цивилизаций, периодически ими пользовавшимися и готовыми пополнять им их запасы. И сомалийцам, и амхара именно эти предметы помогли в образовании государства. Сомалийцы создали несколько типично мусульманских формаций, основанных на городской торговле и сельских племенных связях, объединенных кем-либо из религиозных персонажей. Амхара создали в Эфиопии единственный поистине убедительный образец африканского феодализма, непрочную империю с местными правителями, связанными с единой национальной церковью.

Благодаря ружью и Писанию с их централизаторскими возможностями две эти этнические группы стали главенствующими в политической истории обширного региона, хотя ни одна из них не была численно доминирующей. Другие этнические группы, лишенные подобных преимуществ, в частности оромо (обычно более известные как галла), не могли соперничать с ними.

В семидесятые годы нашего столетия, когда сомалийцы одержали временный успех, вторгшись в Эфиопию, им было удобно и выгодно выдавать оромо за еще несформировавшееся этническое сообщество, представляющее собой некое

доэтническое сырье, ожидающее превращения либо в амхара, либо в сомалийцев путем изменения политической судьбы или с помощью религиозного обращения. Это как бы оправдывало смысл их «сомализации», если таковая пошла бы успешно. Оромо представлялись некой огромной популяцией из Адамов и Ев, которые, еще не отведав этнического яблока, были прикрыты лишь рудиментарным фиговым листком социальной организации на основе возрастных классов. При условии объединения с государством амхара их вожди должны были стать официальными чиновниками, а следовательно, христианами и амхара, но попав в сферу влияния сомалийцев они бы были приобщены к исламу именем культов великих местных святых, что соответственно означало бы начало сомализации. Как известно, Сомали потерпело в этой войне поражение, но поддержка сопротивления господству амхара на Африканском Роге во многом связана с оживлением различных национально-освободительных движений, возникавших внутри самой Эфиопской империи, включая и движение оромо, которые, будучи наиболее многочисленной группой, имели здесь и наибольшее влияние. Поэтому едва ли нам когда-либо удастся вновь услышать, что они представляют собой докультурное, доэтническое сырье.

Если тюрьма народов когда-либо существовала, то ею была именно империя амхара. В 1974 году после низвержения старого императора [17] новые правители повели себя так, как и положено

новым правителям, то есть немедленно признали равенство всех этнических групп и дали им право самим решать свою судьбу. Эти вызывающие восхищение свободолюбивые устремления весьма скоро стали сопровождаться систематическим истреблением интеллектуалов из среды неамхарских народов — политика, удивительно разумная с точки зрения торможения оппозиционных националистических движений в империи *.

Оба эти жесточайших и на данный момент доминирующих вида национализма иллюстрируют преимущество доступности старой высокой культуры — в прошлом, неоценимого достоинства для формирования государства, но и сейчас остающегося необходимым условием придания политического смысла этничности. В каждом из этих случаев соответствующая этническая группа занимает свою территорию и исповедует свою религию, что в большой мере способствует самоопределению.

Интересно также, что сомалийцы являются примером (как и курды) смещения старой племенной и общественной структуры с новым анонимным национализмом, основывающимся на общей культуре. Сильное и устойчивое ощущение связи с родовыми культами, несмотря на их официальное осуждение и запрет, играет весьма существен-

* См.: Lewis Ioan. The Western Somali Liberation Front (WSLF) and the legacy of Sheikh Hussein of Bale.— J. Tubiana (ed.). Modern Ethiopia. Rotterdam, 1980, а также: I. M. Lewis (ed.). Nationalism and Selfdetermination in the Horn of Africa. Indiana, 1983.

ную роль в понимании их внутренней политики. Это, как мне кажется, не противоречит нашей общей теории, утверждающей, что принадлежность современного человека к общей письменной культуре («национальности») есть следствие разрушения старых структур, некогда охранявших индивидуальность, достоинство и материальную независимость каждой человеческой личности, тогда как теперь для того, чтобы обладать этими качествами, она нуждается в образовании. У сомалийцев есть общая культура, которая, обретая свое собственное государство (что и происходит в действительности), сможет обеспечить каждому сомалийцу место в государственном учреждении. Перспективы и личное положение каждого сомалийца в таком государстве, основанном на собственной культуре, будут значительно лучше, чем в соседнем государстве с другой культурой. В то же время многие сомалийцы продолжают оставаться скотоводами, соблюдая интересы, нашедшие отражение в старом скотоводческом праве, и поддерживают взаимовыгодные связи со своими сородичами, связи, которые не порвались окончательно в перипетиях политической жизни.

Подвести итог всему вышесказанному можно следующим образом: в большинстве случаев призыв к новой, обретенной с помощью образования этнической принадлежности имеет свои «за» и «против» — притягательность новых возможностей занятости и боязнь разрушения старых, обеспечивающих безопасность, родовых группиро-

вок. Случай сомалийцев не единственный, хотя и особенно показательный. Устойчивость скотоводства и определенные виды трудовой миграции или торговых связей могут быть причиной выживания большого родового образования в современном мире. Когда это происходит, мы можем наблюдать противопоставление племенной преданности структуре и национальной преданности культуре (и письменной культуре в том числе). Но едва ли можно представить себе, чтобы современный мир мог возникнуть *повсеместно*, удерживая устойчивые социальные миниобразования. Все великие истории о том, как проходило успешное экономическое развитие, связаны с обществами, где богатство и власть указывали человечеству путь к новому образу жизни; и эти истории должны были быть и были совсем иного рода.

Общий переход к современной стадии развития осуществлялся путем разрушения многочисленных мелких местных образований и их замены мобильными, анонимными, письменными, самоопределившимися культурами. Это необходимое условие, лежащее в основе закономерности и распространенности национализма, но в то же время оно не противоречит случайному смешению двух типов преданности или использованию по возможности родовых связей для своеобразного, паразитического и частичного приспособления к новому порядку. Управление современной промышленностью может быть патерналистским или зависеть от семейных связей на самом верху

иерархии, но такая промышленность не может образовывать свои производственные единицы на основе родственных или территориальных принципов, как это делало родовое общество.

Различия между культурно-опосредованным национализмом и структурно-опосредованным племенным строем нарисованы здесь мною, разумеется, с целью простого анализа различий между двумя объективно различными типами организации. Их нельзя смешивать с релятивистским или чисто эмоциональным противопоставлением *моего* национализма *твоему* трайбализму (племенной идеологии.— *Ред.*). Это был бы тот самый язык восхваления или порицания, с помощью которого ведут борьбу соперничающие друг с другом потенциальные национализмы и на котором слова «Я — патриот, ты — националист, а он — трайбалист» остаются таковыми, независимо от того, кем они будут произнесены.

В этом смысле национализмы — это просто те племенные или любые другие подобные им групповые идеологии, которые благодаря удаче, усилиям или стечению обстоятельств стали действенной силой в современном обществе. Определить их бывает можно только *ex post factum*. Трайбализм никогда не бывает процветающим, потому что, когда он действительно становится таким, все относится к нему с уважением, как к истинному национализму, и никто не рискует называть его трайбализмом.

ТИПОЛОГИЯ НАЦИОНАЛИЗМОВ

При помощи различных сочетаний основных факторов, влияющих на формирование современного общества, можно разработать полезную типологию национализма. Первый фактор, требующий включения в эту выстроенную путем дедукции модель, — фактор власти. Здесь нет необходимости строить бинарные (двоичные) классификации, поскольку альтернативы нет. Бессмысленно говорить об отсутствии или рассредоточении централизованной власти в современном обществе. Централизованность такого общества выражается в том, что поддержание в нем порядка — это задача определенного учреждения или нескольких учреждений, а не всего общества в целом. Сложная система разделения труда, взаимозависимость, взаимозаменяемость и постоянная мобильность избавляют граждан от необходимости одновременно подвергаться насилию и совершать его.

Существуют общества, особенно скотоводческие, где все связано: пастух одновременно может быть солдатом, сенатором, юристом и менестрелем данного племени. Культура всего общества в целом как бы заключена в каждом отдельном

индивидууме, а не распределяется в различных формах между всеми, и общество, по крайней мере его мужская половина, в очень сильной степени противится специализации. Немногочисленные специалисты, которые признаются таким обществом, одновременно не очень им уважаемы.

То, что подходит для полукочевников-скотоводов, совершенно исключено в сложном, современном индустриальном обществе. Тем специалистам, из которых оно состоит, едва хватает времени, чтобы домчаться от дома до работы, не говоря уже о том, чтобы принимать охранительные меры против враждебной им корпорации или объединяться для того, чтобы самим совершить неожиданный ночной набег. Так поступали бутлегеры, но для современного делового человека не они являются образцом для подражания. Бизнес, подобный тому, которым занимается мафия, процветает, как правило, там, где обращение в официальные административные учреждения по поводу беззакония не всегда возможно. Чаще наблюдается переход от такого вида деятельности к законному бизнесу, чем наоборот. На самом деле члены современного общества, как правило, не имеют серьезных навыков и практики в применении и сопротивлении насилию. Отдельные подгруппы современного общества представляют собой случайные исключения из этого правила, особенно те, кто сталкивается с жестокостью города, живя в распадающихся урбанистических центрах. Существует также по

крайней мере одно экономически многоплановое общество, а именно Ливан, где дезинтеграция централизованной власти сочетается с удивительной гибкостью и процветанием.

Эти сравнительно небольшие исключения не противоречат основному утверждению о том, что в современном обществе наблюдение за общественным порядком не есть нечто осуществляемое беспорядочно всеми членами общества в отличие от племенного сегментарного устройства, а концентрируется в руках некоторых членов социума. Проще говоря, одни имеют власть, а другие — нет. Одним доступны руководящие посты в государственных учреждениях, а другим — нет. Это создает относительно непрочное, но тем не менее заметное различие между теми, кому принадлежит власть, и всеми остальными. Такой контраст подсказывает нам первый элемент нашей упрощенной модели современного общества, которая при помощи различных его сочетаний с другими элементами позволит отразить все возможные типы национализма.

Следующим элементом модели является доступность образования или жизнеспособной современной культуры (причем здесь эти два понятия будут эквивалентны). Образование или современная высокая культура — понятие достаточно нечеткое, но необходимое. Оно включает в себя ту сумму навыков, которая позволяет современному человеку занять любое положение в обществе и дает ему возможность, если можно так выра-

зиться, легко держаться на плаву в культурной среде подобного типа. Это скорее некая совокупность признаков, а не их строгий перечень: его составные части могут не зависеть друг от друга. Главная роль здесь отводится грамотности, хотя бывают случаи, когда умелые и débrouillard * индивидуумы успешно существуют и даже добиваются успеха и без нее. То же самое можно сказать о необходимости элементарного знания цифр, минимуме технической грамотности, а также соответствующем гибком типе мышления, часто лучше развивающемся в городских, чем в деревенских, условиях. Короче говоря, можно сказать, и это, безусловно, важно для нас, что соответствующим образом одаренная личность или удачно нашедшая свое место подгруппа могут иногда самостоятельно приобрести сумму таких навыков. Но для широкого и успешного их распространения необходима хорошо продуманная централизованная система образования.

Такой подход к образованию (в подразумеваемом смысле) не исключает возможности противоположной или других допустимых ситуаций. В отношении власти все решается однозначно: в индустриальном обществе одни обладают властью, а другие — нет. Это и есть наша отправная точка, общество произвольно разделяется на тех, кто имеет власть, и всех остальных. Но что касается доступности образования, такое разделение не

* Смышленные (фр.).

предрешено заранее. В таком обществе с разветвленной системой власти теперь существуют четыре определенные возможности: 1) образование доступно только тем, кто у власти, и они используют свою власть, чтобы удержат монополию на это право; 2) или, напротив, образование доступно и тем, кто у власти, и всем остальным; 3) или образование доступно всем (или некоторым из них), а власть предержавшие его лишены (такая ситуация не столь уж абсурдна, невозможна и нереальна, как это может показаться на первый взгляд); 4) или, наконец, как это иногда случается, ни тем, ни другим не доступна такая возможность, или, проще говоря, и имеющие власть и те, против кого они ее используют, являются невеждами, погрязшими, как сказал Карл Маркс, в «идиотизме деревенской жизни». С такой вполне допустимой и реальной ситуацией человечеству приходилось встречаться на протяжении своей истории. Не исключена она полностью и в наши дни.

Каждая из названных четырех возможностей (всем им соответствуют по два альтернативных состояния, показанных на рис. 2) соотносится с реальной исторической ситуацией. Когда группа людей, обладающая властью, приблизительно соответствует тем, у кого есть возможность получить такое образование, которое подготовит их к новой жизни, мы наблюдаем нечто, соответствующее в целом раннему периоду индустриализации. Лишенные власти новые мигранты, только что оторванные от земли, политически и культур-

но бесправные, отчужденные, оказываются беспомощными, столкнувшись лицом к лицу с обстоятельствами, слишком затруднительными и недоступными для их понимания. Они и составляют тот самый классический пролетариат на ранней стадии индустриализации, описанный Марксом и Энгельсом (и абсолютно ошибочно относимый ими к последующим стадиям развития индустриального общества) и воспроизводившийся на бедных окраинах в тех странах, где волна индустриализации прокатилась позднее.

Второе сочетание, напротив, относится к позднему индустриальному обществу (но не к ошибочному представлению о нем), когда значительное неравенство в распределении власти остается, а различий в образовании и в образе жизни становится существенно меньше. Система расслоения здесь достаточно свободная и целостная, не поляризованная и не содержащая качественно различных слоев. Смешение различных стилей жизни, уменьшение социальной дистанции, доступность новых знаний — вот ворота в новый мир, открытые практически каждому, кто на равных основаниях, во всяком случае не имея серьезных препятствий, стремится к ним (за исключением обладателей признаков, сдерживающих энтропию, о которых уже говорилось).

Третья, причем кажущаяся парадоксальной, ситуация, когда те, кто обладает властью, столкнувшись с необходимостью приобретать новые навыки, оказываются в проигрыше, встречается

на самом деле и представляет собой совсем не необычную историческую конструкцию. Пропитанный воинственным духом правящий слой традиционного аграрного общества признает в первую очередь такие достоинства, как способность совершать неоправданные жестокости, властолюбие, владение землей, праздность, расточительность, и презирует умение планировать и торговать, любовь к порядку, бережливость, трудолюбие и ученость. (То, каким образом некоторые из этих качеств могут войти в моду и распространиться, касается существа самой знаменитой из всех социологических теорий, а именно взгляда Вебера на происхождение капиталистического духа.) Как следствие, упомянутые качества оказываются типичными только для более или менее презируемых городских, занятых торговлей, желающих учиться групп населения, к которым правители иногда относятся терпимо, но, как правило, постоянно преследуют. Тем не менее при традиционном укладе положение остается достаточно стабильным. Могут меняться действующие лица, структура остается неизменной. Трудолюбивым накопителям не удастся заменить класс бездельников, умеющих только расходовать, так как последние постоянно обирают их, а порой и уничтожают их физически (в Индии тот, кто получил излишки, старается пожертвовать деньги храмам, чтобы уменьшить количество поборов или избежать их).

Однако с наступлением индустриального порядка в форме распространения рыночных отно-

шений и возникновением военных и производственных технологий, началом колониальных завоеваний, былая стабильность утрачивается навсегда. И в этом новом, постоянно меняющемся мире ценности, стиль жизни и ориентация именно торговых, городских групп населения становятся большим преимуществом и обеспечивают легкую доступность к новым источникам богатства, и власти, в то время как старый, устоявшийся механизм экспроприации может стать недоступным и неэффективным *.

Умение считать становится более ценным, чем умение владеть шпагой. Искусное владение шпагой теперь мало что дает. Конечно, старые правители, почуяв ветер перемен, могут попытаться изменить свои привычки. Именно так они и поступили в Пруссии и Японии. Но психологически им совсем не легко сделать это быстро (а иногда и просто решиться на это). В итоге преимущества оказываются у тех, кем управляют (или, во всяком случае, у некоторых из них), когда речь

* См.: Hirschman Albert O. *The Passions and the Interests*. Princeton, 1977. Разумеется, возможно, что свободный индивидуалистический дух предвосхищал на много веков, по крайней мере в одном обществе, наступление индустриального порядка. См.: Macfarlane Alan. *The Origins of English Individualism*. Oxford, 1978. Это не противоречит нашей теории, хотя может бросить свет на раннее возникновение национального сознания в Англии. Чтобы представить себе, как настоящая теория национализма соотносится с более широкой социальной философией, см.: Hall John A. *Diagnoses of Our Time*. London, 1981.

идет о получении образования и приобретении необходимых навыков.

И наконец, существует четвертый сценарий: ни те, кто управляет, ни те, кем управляют, не имеют возможности получить соответствующие навыки. Это обычная ситуация для любого отсталого аграрного общества, не поддающегося влиянию индустриального мира, когда и управляющие, и управляемые предаются множеству всевозможнейших пороков, таких, как суеверия, алкоголизм (или любые их варианты, предпочитаемые в разных местах), и когда ни те, ни другие не хотят и не могут пойти по новому пути.

Сочетая (имеющееся постоянно) неравенство в отношении власти с разнообразными возможностями доступности образования, мы получили четыре вероятные ситуации: одинаковая доступность, одинаковая невозможность доступности, доступность, используемая либо в интересах имеющих власть, либо направленная против них. Но до сих пор мы еще не ввели элемент, наиболее существенный с точки зрения национализма: однородность или неоднородность культуры.

То, что здесь термин «культура» употребляется в этнографическом, а не в нормативном смысле, не нуждается в доказательствах: здесь в это понятие вкладывается определенный стиль поведения и общения, принятый данным социумом. Термин «культура» в настоящем обсуждении используется только в этом смысле, а не в смысле «*Culture*», то есть как понятие, подразумевающее высо-

кую культуру, Великую Традицию. Эта высокая культура предполагает стиль поведения и общения, которые должны считаться образцом и установленной нормой и которым должны следовать, но, к сожалению, часто не следуют в реальной жизни; обычно они определяются группой уважаемых в данном обществе специалистов. «Культура» без определения означает культуру в этнографическом, ненормативном смысле, тогда как «Kultur» означает высокую культуру. Взаимоотношения между двумя типами «культуры» очень важны для предмета нашего изучения. Высокие (нормативные) культуры, или традиции, интересующие нас, являются, разумеется, письменными. Таким образом, для нас проблема их доступности превращается в проблему доступности образования. Выражение «доступность культуры» соответственно означает доступность культуры (в этнографическом смысле), которой человек лишен в силу своей принадлежности к *другой* культуре, а не в силу недостатка образования. Это разъяснение, возможно, излишне педантичное, необходимо для того, чтобы избежать непонимания.

Понятие различия культур вводится в наиболее доступной форме, с тем чтобы предвосхитить возможные трудности. Следуя за экономистами, иногда обсуждавшими мир, в котором имеются один или два предмета потребления, представим себе и мы, что наше общество либо монокультурно (каждому присуща одна и та же культура в этнографическом смысле), либо в нем имеются

две культуры, культура тех, кто у власти, и культура всех остальных. Сложности, возникающие в реальном мире из-за одновременного присутствия в одной сфере трех, четырех или более культур, не влияют на доказательство.

Применив это двойное противопоставление «культурное единство/культурная двойственность» к уже выстроенной нами четырехступенчатой типологии, мы получим восемь возможных ситуаций (см. рис. 2).

Обратите вначале внимание на то, что строки 1, 3, 5 и 7 относятся к ситуации, когда, несмотря на любые неравенства в отношении к власти или доступности образования, национализм не имеет силы из-за отсутствия (*ex hypothesi*) культурной дифференциации. Есть свидетельство, что классы, возникающие на ранней стадии развития индустриального общества (оставим в стороне более сглаженное, менее резкое расслоение, происходящее на более поздней стадии), не пребывают в состоянии перманентного и постоянно нарастающего конфликта, пока культурная дифференциация не вызовет вспышки, ведущей к размежеванию, к отделению себя от врага. Понятно, что большое число столкновений, имевших место, скажем, в 1848 году, были классовыми. Для Токвилля [1], относящегося к этим событиям с неодобрением, это было столь же очевидно, как и для Маркса, одобрявшего их. Однако не прекращаясь, они не становились бесконтрольными.

С другой стороны, марксизм предпочитает

	В	~В	
	О	~О	
1	А	А	ранняя индустриализация без этнического ускорения
2	А О	Б О	национализм «габсбургского» [4] типа (направлен на восток и на юг)
3	А	А	зрелая однородная индустриализация классический либеральный западный национализм
4	А ~О	Б О	
5	А	А	декабристская [5] революционная, но не националистическая ситуация
6	А ~О	Б ~О	национализм диаспоры [6]
7	А	А	нетипичная донационалистическая ситуация
8	А	Б	типичная донационалистическая ситуация

Рис. 2. Типология социальных ситуаций, стимулирующих национализм и препятствующих национализму

~ означает отрицание, отсутствие. **В** — власть, **О** — доступность современного образования, **А** и **Б** обозначают названия отдельных культур. Каждая из пронумерованных строк представляет одну из возможных ситуаций; строка, содержащая **А** и **Б**, означает ситуацию, когда две культуры сосуществуют на одной территории; строка, где имеются **А** и **А**, означает культурную однородность на той же территории. Если **А** и **Б** находятся под **О** или **В**, тогда культурной группе, о которой идет речь, доступны образование или власть, если они находятся под **~О** или **~В**, то они недоступны. Ситуация в любой группе обозначена ближайшими **О** и **В** над ним.

считать этнические конфликты хорошо скрытыми классовыми и верит, что человечество выиграет, если маска будет сорвана: люди прозреют и,

таким образом, избавятся от националистических предрассудков. Это представляется полным непониманием того, что такое эта маска, и того, что в действительности скрывается под ней. «Антисемитизм — это социализм дураков» — было когда-то такое выражение, хотя его и не вспоминали в дни суда над Сланским [2] или во время польской чистки 1968 года, когда социалистический режим содействовал разжиганию антисемитизма [3]. Рабочие якобы не имеют отечества, родной культуры, отличающей их от других рабочих, особенно иммигрантов, а также, как может показаться, и какого-либо цвета кожи. К сожалению, рабочих обычно не волнуют эти любопытные, захватывающие изъяснения чувств, хотя вовсе не оттого, что им мало это внушают. В действительности этническая принадлежность вторгается в политическую сферу в образе «национализма», если культурная однородность или целостность (не бесклассовость) становятся необходимыми для экономической основы социальной жизни и, соответственно, когда классовые различия, связанные с культурой, делаются невыносимыми, в то время как этнически безразличные, постоянные классовые различия остаются вполне терпимыми.

Строка 1 относится к классическому раннему индустриализму, когда и власть, и доступность образования сосредоточены в чьих-либо руках, но здесь лишенные прав не отличаются в культурном отношении от имеющих их, и, соответственно, это

не имеет никаких или, во всяком случае, значимых последствий. Предсказанные марксизмом противоречия и катаклизмы не возникают. Строка 3 относится к позднему индустриализму с общедоступным образованием и отсутствием культурных различий; здесь еще меньше оснований предполагать конфликты, чем на строке 1. Мы еще должны обсудить важный и сложный вопрос: всегда ли в период развитого индустриализма рождается общая для всех культура, преодолевающая к этому времени языковые различия. Если у людей более или менее сходны понятия, то, возможно, не имеет значения, какими словами они выражены. При таком условии строка 3 могла бы характеризовать будущее всего человечества после наступления эпохи всеобщего индустриализма, если, разумеется, она когда-либо наступит. Этот вопрос будет обсужден позже.

Строка 5 также не создает ситуации появления *националистических* проблем и противоречий. Слабая в политическом отношении подгруппа имеет преимущества в области экономики и образования, но, будучи неотличимой от большинства, может незаметно плавать в общем бассейне, как легендарный маоистский партизан [4], не привлекая вражеского внимания.

Строки 7 и 8 также не имеют отношения к *националистической* проблематике, но совсем по другой причине. В обоих случаях вопрос доступности новой, высокоразвитой культуры, являющейся предварительным условием изменения

стиля жизни, и возможности воспользоваться его преимуществами вообще не возникает. Здесь она не доступна одним больше, чем другим. Именно этот момент является решающим для нашей теории: суть национализма — в приобщении, причастности, принадлежности именно к высокой письменной культуре, охватывающей население всей политической единицы и обязательно соответствующей тому типу разделения труда и способа производства, которые лежат в основе данного общества. В ситуациях строк 7 и 8 такой способ производства отсутствует; нет даже упоминания о нем или об отношении к нему. Не существует высокой культуры или, во всяком случае, такой, которая имеет тенденцию и возможности превратиться в культуру, единую для всего общества, и стать условием его успешного экономического функционирования. Строка 7 дважды исключается из националистического списка: первый раз — по причине, уже упомянутой, и еще раз — поскольку она также требует культурной дифференциации, которая могла бы повлечь за собой любые другие проблемы. Строка 8 более типична для сложных аграрных обществ, чем строка 7: правящий слой выделяется здесь при помощи определенной культуры, которая служит знаком различия, уменьшает неопределенность и, таким образом, напряженность. Строка 7 со своей культурной целостностью не типична для аграрного мира.

Отметим еще одну разницу между картиной, отраженной этой типологией, и той, которую обычно предлагает марксизм. Как уже указывалось, наша модель допускает возможность вертикального конфликта между различными горизонтальными слоями, но совершенно иную, чем предсказывал марксизм. Она предполагает конфликт только в тех случаях, когда «этнический» (культурный или какие-либо другие опознавательные знаки) заметны и подчеркивают различия в доступности образования и власти и более всего когда они тормозят свободное перемещение людей через произвольные границы социальной стратификации *. Она также предполагает возможный конфликт в процессе развития индустриализма скорее *раньше*, чем позже (с оговоркой, что без этнической и культурной дифференциации никакой опасный и острый конфликт вообще невозможен). Однако эти различия в прогнозах лучше рассматривать не сами по себе, а как следствия лежащих в их основе теорий.

В этом плане две точки зрения различаются по меньшей мере в двух аспектах. Один из них касается темы, которой уделяли очень много внимания критики марксизма: отношение к социальному расслоению, вызванному индустриализацией (или, пользуясь марксистской терминологией, капи-

* Этот факт, касающийся важнейших несоответствий в обществе, кажется, был признан автором, продолжающим считать себя марксистом. См.: Nairn Tom. The Break-up of Britain. London, 1977.

тализмом). Наша модель допускает возможность поляризации, отсутствие социальной целостности на ранней стадии индустриализма и последующее их сглаживание благодаря социальной мобильности, уменьшению социальной дистанции и смешению стилей жизни. Она отрицает огромные различия в отношении к собственности, но предполагает, что скрытые и явные последствия этого становятся гораздо менее существенными.

Значительно важнее сама природа поляризации, возможной в индустриальном обществе. Наша модель существенно отличается от марксистской тем, что в ней мы не касались вопроса управления и владения капиталом. Однородность культуры, доступность власти и образования — только эти элементы были включены в модель для того, чтобы мы могли представить себе восемь наших возможностей. Капитал, собственность и богатство мы вообще исключили, причем сознательно. Эти факторы, которым когда-то придавалось такое большое значение, были заменены другим, изначально обозначенным как доступность образования, предполагающим, как уже объяснялось ранее, возможность приобрести определенную сумму навыков, которые позволяют человеку успешно существовать в условиях так называемого индустриального разделения труда. Я считаю такой подход полностью оправданным. Дело в том, что эту точку зрения часто разделяют экономисты, придерживающиеся прин-

ципа *laissez faire* *. Население, находящееся за чертой бедности (например, работающие по найму китайские кули [5]), попав в благоприятные условия, начинает преуспевать, в то время как капитал, оказавшийся в руках людей, не способных им воспользоваться, не идет на пользу экономическому развитию. Значение понятий «капитал» и «капитализм» представляется преувеличенным.

РАЗНООБРАЗИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Наша модель была разработана с помощью трех факторов, имеющих самостоятельное значение: власть, образование и общность культуры. Из восьми возможных ситуаций, предложенных моделью, пять оказались ненационалистическими: четыре из-за того, что не произошла культурная дифференциация, а две — из-за недоступности высокой культуры для всех (один из примеров, разумеется, учтен и в первом, и во втором случае). Таким образом, нам остается рассмотреть еще три типа национализма.

Строка 2 относится к понятию, которое можно определить как классическую габсбургскую (то есть ориентированную на юг и восток) форму национализма. По этой модели те, кто у власти, имеют преимущества в доступности централь-

* Невмешательства (*фр.*).

ной государственной высокой культуры, к которой они действительно принадлежат от рождения. Они могут также легко овладеть всеми ухищрениями, помогающими преуспеть в современных условиях. Лишенные власти лишаются также и возможности получить образование. Для них доступны или для части из них доступны народные культуры, которые с большим трудом и с помощью настойчивой пропаганды могут быть превращены в новую высокую культуру, противопоставляющую себя старой, независимо от того, имеется ли у нее реальное или вымышленное прошлое, связанное с исторической политической единицей, якобы когда-то построенной на основе той же культуры или одного из ее вариантов. Этой задаче весьма охотно отдают свои силы деятели из числа наиболее сознательных представителей данной этнической группы, и, если обстоятельства позволяют, эта группа основывает собственное государство, которое поддерживает и оберегает новорожденную или возрожденную культуру.

Создавшееся положение стараются быстро использовать в своих целях упомянутые деятели-«пробудители», а иногда и другие носители культуры, хотя, возможно, для них было бы ничуть не худшим вариантом ассимилироваться с культурой тех, кому принадлежала власть. Представители всех прочих культур, оказавшиеся на территории, входящей теперь в состав нового государства, в свою очередь попадают в положение уще-

мленного меньшинства, сталкиваются с проблемами ассимиляции, вооруженных сепаратистских и национально-освободительных движений, эмиграции, статуса непризнаваемого меньшинства и даже с угрозой физического уничтожения. Такая модель была представлена в разных частях света, но особенно стоит выделить тот ее вариант, который можно назвать «африканским» (хотя он не ограничивается только Африкой). Он возникает, когда местные народные культуры оказываются не в состоянии стать новыми, Высокими культурами зарождающегося государства либо потому, что их слишком много, либо потому, что они излишне подозрительны друг к другу, либо по какой-нибудь иной причине.

Мы уже отчасти касались этого вопроса в главе 5 в связи с воображаемой Руританией. Но в той части исследования меня больше интересовали различия между ситуацией руританского типа (или строкой 2 нашей таблицы) и той специфической проблемой, с какой сталкиваются развитые индустриальные общества из-за наличия у населения признаков, затрудняющих мобильность и сдерживающих энтропию. Это — контраст между торможением мобильности из-за затруднений коммуникативного характера и из-за трудности культурного определения или, если хотите, из-за легкости распознавания неравенства — эффекта чужой крови, или дурной репутации, от которой нельзя избавиться.

Препятствия, с которыми сталкивается мо-

бильность из-за навешивания ярлыков представителям непривилегированного слоя, — очень серьезная проблема для индустриального общества, требующая ясности. Но нас сейчас интересует другое, а именно различие между строками 2 и 4. Любопытна ситуация, обозначенная строкой 4: у одних есть власть, у других нет. Различия совпадают и выражаются так же, как культурные. Но когда речь идет о доступности образования, то заметных различий между теми, кого это касается, нет. Что же происходит в этом случае?

Реальная историческая ситуация, которой соответствует эта модель, — это национализм периода объединения Италии и Германии XIX века. Большинство итальянцев находилось под властью чужеземцев и было ущемлено в политическом отношении. Большинство немцев жило в раздробленных государствах, многие из которых были мелкими и слабыми, во всяком случае по европейским масштабам, и поэтому не могли служить немецкой культуре как централизованной современной среде политической крышей. Как ни странно, когда многонациональная могущественная Австрия попыталась осуществить нечто подобное, это вызвало недовольство некоторых ее граждан.

Таким образом, политическая защищенность итальянской и немецкой культуры была явно и оскорбительно мала для итальянцев и немцев в сравнении с защищенностью французской и английской культуры. Но возможность получить

образование, предоставленная двумя этими высокими культурами тем, кто от рождения владел их диалектными вариантами, была ничуть не меньшей. И итальянский, и немецкий были литературными языками, имевшими установленные нормативные варианты. На их основе создавались процветающие литературы, технический язык, правила поведения, они использовались в учебных заведениях и академиях. Если и наблюдалась культурная неполноценность, то крайне незначительная. Уровень грамотности и образования немцев не был существенно ниже, чем у французов, не был он значительно ниже и у итальянцев, даже в сравнении с господствующими австрийцами. Немецкая культура по сравнению с французской или итальянская по сравнению с немецкой, распространенной у австрийцев, не были отсталыми, и их носителям не приходилось преодолевать препятствия на пути к доступности современных мировых достижений. Необходимо было ликвидировать лишь неравенство в отношении доступности власти и обеспечить культуру (и экономику) политической крышей, изменить в соответствии с новыми требованиями необходимые учреждения. Рисорджименто [6] и объединение Германии устранили эти несоответствия.

Тем не менее существует различие между такого рода унификаторским национализмом во имя распространения высокой культуры, нуждающейся лишь в политической крыше, и классическим габсбургским (ориентированным на юг и во-

сток) типом национализма. Изучение этого различия является предметом великолепного и очень трогательного эссе покойного профессора Джона Пламенатца, эссе, которое с успехом можно было бы назвать «Грустные размышления черногорца в Оксфорде» *. Пламенатц выделяет два типа национализма: западный и восточный. Западный тип — тип Рисорджименто или унификации, характерен для XIX столетия и тесно связан с либеральными идеями; восточный тип хорошо известен ему по его родным Балканам, хотя этого он и не подчеркивает. Без всякого сомнения, западный национализм представляется Пламенатцу относительно мягким и приятным, а восточный — ужасающим, что, по его мнению, обусловлено предпосылками его возникновения. Было бы любопытно выяснить, счел ли бы он далеко не мягкие формы, которые принял некогда мягкий или относительно либеральный и умеренный западный национализм в XX столетии, случайной ошибкой, которую можно было бы избежать.

Логика, лежащая в основе рассуждений Пламенатца, ясна. Относительно мягкие западные национализмы действовали в интересах высоких культур, нормативно централизованных и имевших в своем распоряжении легко распознаваемую народную основу. Поэтому им требовалось незначительное приспособление к политической ситуа-

* Plamenatz John. Two types of Nationalism. — E. Kamenka (ed.). Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea. London, 1973.

ции и международным границам для того, чтобы защитить эти культуры, их носителей и потребителей так же надежно, как были защищены и их противники. Для этого понадобилось несколько сражений и упорная дипломатическая работа. Но, следуя правилам приготовления исторической яичницы, яйца надо было разбивать строго в соответствии с рецептом, во всяком случае не больше, чем того требовал нормальный ход политической игры, в обычных политических рамках и сообразуясь с требованиями времени.

Для сравнения попробуем оценить национализм, описанный Пламенатцом как восточный. Для его претворения, разумеется, требуется не меньше военных действий и дипломатии, чем для осуществления западного национализма. Но этим дело не ограничивается. Восточный национализм не действует во имя хорошо определившейся, систематизированной высокой культуры, определившей свою собственную территорию, которая очерчена лингвистически с помощью литературной деятельности, продолжающейся с времен раннего Возрождения или Реформации. Такой национализм действовал во имя еще не окончательно сложившейся высокой культуры — культуры, зародившейся и находящейся в процессе формирования. Она возобладала или стремилась возобладать в жесточайшем соперничестве с подобными ей на хаотичной этнографической карте, со множеством диалектов неясного исторического или лингвогенетического происхождения, и включаю-

щей народности, только начавшие приобщаться к этим формирующимся национальным высоким культурам. Объективные условия современного мира вынудили их в кратчайший срок приобщиться к одной из них. Но пока этого не произошло, они не располагали той определенной культурной основой, которая имелаась у их немецких и итальянских двойников.

Эти народности Восточной Европы были все еще связаны множеством сложных родственных, территориальных и религиозных уз. Для того чтобы заставить их подчиниться националистическому требованию, было недостаточно нескольких сражений и дипломатии. Необходимо было мощное культурное строительство. Во многих случаях оно вынуждало к перемещению народов, их изгнанию, насильственной ассимиляции, а иногда и истреблению с целью достижения той тесной связи между государством и культурой, которая и составляет суть национализма. И все это не было следствием какой-то невиданной жестокости националистов, в крайнем случае не чуравшихся и подобных средств (они были не хуже и не лучше всех остальных), а вытекало из неизбежной логики ситуации.

Если националистическое требование было необходимостью в тех условиях, которые Пламенатц изначально определил как «восточные», то это и вело к соответствующим последствиям. Общество современного типа не может сложиться, не удовлетворив хотя бы подобию националисти-

ческого требования, вытекающего из нового типа разделения труда. Соппротивление жажде индустриального изобилия бессмысленно, поскольку его преимущества и их доступность известны и поскольку распад предшествующего общественного порядка неминуем. Ход наших рассуждений приводит нас к неизбежному выводу. Удачное стечение обстоятельств, понимание и решительность могут уменьшить цену, но совсем уйти от расплаты невозможно.

НАЦИОНАЛИЗМ ДИАСПОРЫ

Наше обсуждение различий между строками 2 и 4 рисунка 2 в какой-то мере повторяют рассуждения Пламенатца о западном и восточном национализмах, но имеют некоторые преимущества по сравнению с ними. Во-первых, это противопоставление не просто принимается на веру как случайное, исторически сложившееся разделение, а становится производным простой модели, включившей в себя на уровне гипотезы некоторые фундаментальные составные элементы. Во всяком случае для тех, кто, как я, считает, что такую модель стоит попытаться выстроить, этот путь, предпочтительнее.

Еще одно преимущество заключается в возможности «конструирования» следующего, третьего варианта национализма, совсем не принятого во внимание Пламенатцом, но, несомненно, возникающего вследствие дальнейших комбинаций тех

же самых элементов, которые включались в два интересовавшие его примера. Этот третий пример лучше всего назвать национализмом диаспоры, и как предмет исторической действительности он является весьма определенным и очень наглядным и важным подвидом национализма.

Традиционное аграрное общество, как мы уже отмечали, использует культуру или этничность в первую очередь для выделения привилегированных групп, таким образом подчеркивая их знатность, узаконенность прав и укрепляя их влияние. Если правители говорят на особом языке или имеют особый акцент и отличающие их привычки, использование теми, кто не относится к правящему слою, того же способа общения будет нарушением правил поведения. Это сочтут проявлением наглости, *lèse-majesté**, кощунством или попросту смешным. Насмешка — это большая сила. Она представляет собой наиболее могущественную силу, против которой разум бессилен даже или особенно в тех случаях, когда приговор выносится наименее квалифицированным из судов. Могут применяться и другие, возможно, более жестокие наказания.

Но те же самые социально обозначенные признаки культуры и этнической принадлежности используются для того, чтобы выделить и отделить не только привилегированные слои, но и непривилегированные, противопоставляемые им

* Оскорблением величества (*фр.*).

группы отверженных. Причем такие группы очень нужны обществу. Как мы уже отмечали, в доиндустриальных обществах бюрократические функции лучше всего выполнялись евнухами, священниками, рабами и иноземцами. Считалось, что допускать свободно рожденных граждан, уроженцев страны к таким ключевым позициям слишком опасно, поскольку местные и родственные связи имеют для них большое значение, и они могут воспользоваться своим положением, чтобы облагодетельствовать родственников и клиентов, в свою очередь использовать их в целях укрепления собственного положения. Ко времени образования нашего общества, когда каждый становится и мамлюком, и служащим, а также может со знанием дела выполнять обязанности чиновника, необходимость в «оскоплении», как физическом, так и социальном, отпадает. Теперь людям доверяют, и то, что казалось политически неприемлемым и странным в аграрном обществе, стало обычным и распространенным явлением в наше время. Сейчас все мы «оскоплены» и удручающе благонадежны. Государство полностью доверяет нам выполнение обязанностей и не испытывает необходимости превращать нас в евнухов, священников, рабов или мамлюков.

Но распределение постов в административной структуре не единственная причина существования отверженных при аграрном порядке. Отверженные бюрократы — не единственная форма отсутствия полной гуманности, а бюрократия —

не единственный источник социальной власти. Колдовство,ковка металлов, финансы, элитарные военные части и прочие чудеса, а в некоторых обстоятельствах *любой* вид ключевой специализации может наделять слишком опасной силой специалистов, которым они доступны. Одним из способов нейтрализовать эту опасность, в то же самое время допуская специализацию и по мере возможности закрепляя монополию гильдии или касты, является утверждение такого порядка, когда социальная ниша может быть занята только группой, легко выделяемой в культурном отношении, обреченной на презрение и гонения, не допущенной в политические учреждения и к средствам производства.

Яркими примерами должностей, часто слишком опасных для того чтобы предоставлять их местным жителям и полноправным гражданам, и поэтому предоставляемых иностранцам, являются должности дворцовых охранников и финансовых деятелей. Понятно, что обращение с большими суммами денег связано с обладанием властью и поэтому проще, если эта власть будет в руках тех, кто лишен возможности использовать деньги для собственного процветания, так как принадлежит к категории, лишенной надежды на высокий и почетный пост. При традиционном порядке группы, оказавшиеся в таком положении, спокойно мирятся с подобной несправедливостью, здраво оценивая как его преимущества, так и недостатки. Обычно они сживаются с ним и не помышляют об

ином. Иногда они очень страдают, но все же их положение имеет наряду с недостатками и свои достоинства.

С образованием мобильного, централизованного массового общества ситуация в корне меняется. Особенно это сказывается на меньшинствах, специализирующихся на финансовых, торговых и вообще городских видах деятельности. С распространением мобильности и смены занятости определенная культурная группа уже не способна удерживать монополию на какой-либо вид деятельности. Если значительное число членов большего сообщества желает заниматься этими прибыльными (когда доход не подвергается конфискации) профессиями, то они едва ли могут остаться достоянием меньшинства и тем более — меньшинства, отмеченного каким-либо культурным или социальным клеймом.

В то же время с утверждением нового порядка и нового стиля жизни бывшие члены специализированных и ранее подвергавшихся сегрегации сообществ оказываются в выигрыше. Их традиционно городской образ жизни, умение считать, коммерческая сметка, более высокий уровень грамотности и иногда приобщенность к религиям, имеющим письменную традицию, делают их более пригодными к новой цивилизации, чем представителей старого правящего класса или крестьянства.

Многие социологи и среди них даже такие искушенные, как Макс Вебер, считали, что для по-

добных меньшинств типичен двойной стандарт — один для своей группы и другой, более гибкий и аморальный, — для всех остальных. Они действительно придерживались двойных правил, но совсем в противоположном смысле. Их отношения с окружающим миром прежде зависели от выполнения специфических обязанностей или производства специфических предметов и товаров. Имя и репутация таких групп всецело держались на надежном, *добросовестном* исполнении подобных обязанностей; и их профессиональная добросовестность была хорошо известна. Это было не похоже на отношения, типичные для общества с традиционной моралью, где сделка между двумя партнерами всегда имела большее значение, чем просто коммерческая сделка. Там два участника всегда были либо родственниками, либо соплеменниками, союзниками, либо врагами и так далее; таким образом, сделка никогда не сводилась лишь к передаче *данного* товара за определенную цену. Всегда существовала возможность получить бóльшие преимущества или стать жертвой предательства. Обе стороны стремились вступить в максимально долгосрочные и прочные сделки или отношения и, таким образом, должны были предлагать как можно больше. С другой стороны, неудовлетворенность результатами сделки грозила нарушением многих других связей, поэтому для пресечения недовольства предпринимались самые решительные меры.

В этих условиях сделки с меньшинством, со-

стоящим из тех, с кем запрещено было есть, вступать в брак и заключать политические или военные союзы, имели свое преимущество. Обе стороны могли сконцентрироваться на рациональном и плодотворном решении дела, в котором они были заинтересованы, и потому надеялись получить именно то, на что рассчитывали,— не больше и не меньше. Внутри самого меньшинства связи были также разветвленными, и, следовательно, сделки опять оказывались менее надежными и более многосторонними. Но тот, кто не занимает положения в более широком внешнем обществе, может легче рассчитывать на контракт. С другой стороны, те, кто имеет высокий статус в обществе, обязаны подчиняться его требованиям и уважать законы, и так они лишаются свободы, необходимой для ведения переговоров и заключения сделок. Известное имя и положение ограничивают для человека возможности выбора, накладывая на него слишком много обязательств и предъявляя к нему множество требований. Напротив, отсутствие высокого статуса позволяет человеку легче подобрать себе подходящее занятие, заключить разумную сделку и соблюдать ее условия.

Итак, малые сообщества действительно существуют в соответствии с двойным стандартом, но не в том смысле, который обычно вкладывается в это понятие. Для тех, кто не входил в их состав, они олицетворяли надежность, которая является заведомым, ожидаемым условием для современных упрощенных отношений. Зато во взаимоотно-

ношениях с членами собственной группы их сделки приобретали столь запутанный и многоступенчатый характер, что на наш сегодняшний чувствительный взгляд они явно отдавали бы коррупцией. Разумеется, с зарождением анонимного мобильного массового общества одноразовые и однолинейные сделки становятся обычным явлением, а не характерной чертой отношений социально не совпадающих групп.

В условиях модернизации с бывших специализированных меньшинств снимаются правовые ограничения, но *одновременно* они лишаются и своего монопольного права, а также защищенности. Их прежний опыт и ориентация часто дают им возможность действовать с большим успехом в условиях полной экономической свободы для всех. Их знания также оказываются весьма полезными. Но в то же время их прежний опыт вырабатывался в условиях политического бессилия и подчинения общинному праву на самозащиту. Это и была цена, заплаченная ими за первоочередное право овладения профессией: они вынуждены были смириться со своей политической и военной беспомощностью, чтобы получить доступ к тем средствам, которые в дурных руках становились слишком могущественными или опасными.

Но даже и без такой традиции политическое и военное бессилие этих групп часто было следствием самого статуса меньшинства, рассеянного по многочисленным городским центрам и потому

лишенного компактной и защищенной территориальной базы. Некоторые экономически процветающие группы такого рода имеют давние традиции рассеяния, урбанизации и пребывания в статусе меньшинства: это, бесспорно, относится к евреям, грекам, армянам и парсам [7]. Другие группы оказались в таком же положении только в результате недавних миграций или открывшихся перед ними возможностей (включая получение образования) в самое последнее время. Таково положение живущих за пределами основной этнической территории китайцев («хуацяо») и индийцев или ибо в Нигерии.

Ужасающие и трагические последствия соединения в современных условиях экономического превосходства и культурной выделяемости с политической и военной беспомощностью слишком хорошо известны, чтобы на них вновь останавливаться. Последствия могут быть разные, от геноцида до изгнания. Иногда устанавливается ненадежное и неустойчивое равновесие. Самое главное, что центральная власть оказывается теперь в совсем ином положении и подчиняется совсем иному влиянию и давлению, чем во времена аграрного разделения труда. Тогда и речи не было о том, чтобы *каждый* мог стать мобильным, образованным, обученным профессии или торговле: кто бы в таком случае обрабатывал землю?

Адам пахал, его жена
Возилась с сыном Каином.
А кто же в эти времена
Был лордом и хозяином?*

Вероятно, такие все-таки были. Но не они составляли большинство или хотя бы общественную «норму». Почти полностью обуржуазившееся общество в то время было совершенно нереальным. Основное население не стремилось взять на себя роль меньшинства, которая считалась все-таки позорной. Правителям была удобна беззащитная, легко облагаемая налогами и поборами, экономически специализированная группа, крепко привязанная к власти из-за своей постоянной и усиливающейся беззащитности.

Но в новых условиях национальное «развитие» настойчиво требует всеобщего движения в направлении, некогда доступном только малочисленной, особо выделенной группе. Когда-то государство было заинтересовано в защите такого меньшинства, которое ему было легче доить. Теперь государство больше заинтересовано в лишении меньшинства его экономической монополии, и, поскольку это меньшинство находится на виду и обладает богатством, государство, чтобы заслужить расположение более широких слоев населения, начинает притеснять меньшинство и лишать его собственности. Это случается неизбе-

* Перевод С. Маршака. В оригинале: 'Кто в эти времена был торговцем?' — *Прим. ред.*

жно. Именно так в угоду большинству создается для него весьма приятное (правда не для его жертв) и трогательное зрелище унижения группы, некогда вызывавшей зависть. Порой подобным удовольствием может наслаждаться не только ограниченная по численности группа, унаследовавшая положение преследуемого меньшинства, но и значительно более обширная категория — и это тоже политически веское соображение, делающее такой ход событий привлекательным для государства.

Такие обстоятельства ставят меньшинство перед выбором, подобным тому, который приходилось делать (хотя и в несколько иных условиях) нашим рабочим-мигрантам из Руритании. Оно может, например, ассимилироваться, и иногда именно это и случается со всем меньшинством или с довольно значительной его частью. Оно может, напротив, попытаться покончить со своей специализацией и со своим статусом меньшинства, создав собственное государство, которое теперь возьмет на себя функцию защитника неспециализированной новой национальной культуры. Для рассредоточенного городского населения первоочередной проблемой является, конечно, обретение необходимой территориальной базы. Жители Руритании, будучи крестьянами, разумеется, имели свою территорию, которой и суждено было превратиться в Королевство Руритания, а впоследствии в Социалистическую Народную Республику Руританию. Но на что могла рассчи-

тивать городская, профессионально специализированная и рассеянная группа, практически не имевшая сельских корней?

Для национализма подобного типа обретение территории было первой и, вероятно, главной задачей. Эллины вначале думали не столько об отделении от Османской империи, сколько об изменении иерархии внутри нее и захвате власти и, таким образом, о возрождении разрушенной турками Византии. Первое Греческое восстание [8] произошло не в Греции, а на теперешней территории Румынии [9], где греки составляли меньшинство, и при этом весьма успешно существовали вне османской системы. Нынешняя южная Греция стала использоваться как единственная территориальная база намного позднее.

Наиболее знаменитый и драматический пример успешного национализма диаспоры — это Израиль. Он также является, по словам Хью Трево-ра-Ропера*, «последним и наименее типичным из европейских национализмов». (Поскольку он решил европейскую проблему, создав азиатскую, о которой израильтяне лишь начали задумываться.)

В диаспоре еврейская религия всегда была обращена к Иерусалиму. Возвратившись в Иерусалим, полусекуляризованный сионизм использовал устаревшие к тому времени социалистические или народнические клише Европы XIX века. Поч-

* Trevor-Roper H. Jewish and other Nationalism. London, 1962.

ти двухтысячелетняя история рассеяния лишила евреев какой-либо территориальной базы, и более всего в земле Израиля, и сделала их скорее утратившим целостность и сильно специализированным слоем внутри структуры других обществ, чем сбалансированной популяцией, способной стать основой более или менее автократического современного государства, *geschlossener Handelstaat**. Тем не менее это удивительное превращение было осуществлено в значительной степени благодаря инициативе, вызванной преследованиями, начавшимися в Восточной Европе, а затем и во всей Европе в период катастрофы [10]. Эти преследования – самый наглядный пример судьбы культурно выделенных, экономически преуспевающих и политически беззащитных сообществ в момент, когда эпоха таких специализированных сообществ и традиционной формы органического разделения труда подходит к концу.

Личностные изменения, которые пришлось претерпеть евреям, приехавшим из разных стран в Израиль, шли вразрез с общей тенденцией мирового развития: городское, космополитическое население с высоким уровнем грамотности и знаний было по крайней мере частично возвращено на землю и ограничено более жесткими территориальными рамками. Обычно националистический процесс противоречит своим собственным формули-

* Закрытой корпорации (нем.).

ровкам и лозунгам: говоря о крестьянах, он на деле создает горожан. В данном случае было совершенно необходимо создать некоторое количество «искусственных» крестьян. По сути дела, это оказались крестьяне, объединенные определенными основными племенными признаками: типом местной организации, состоявшей из единиц, осуществляющих одновременно производственные и военные задачи. «Изготовление» таких крестьян-соплеменников из людей городского происхождения — явно нелегкая задача, и искусственные крестьяне-солдаты были, в сущности, созданы по образцу несекулярного монашеского устава [11]. Этот процесс нуждался в своей идеологии; и в силу исторической случайности подходящая смесь из социализма и народничества оказалась наиболее доступной и распространенной в той интеллектуальной среде, из которой устав вербовал своих новых членов. Такие черты этой идеологии, как пропаганда сельского образа жизни, коллективизма, неприятие разделения труда, находились в идеальном соответствии с ее целями. Ответить на вопрос, так ли хорошо живет современный человеку в киббуце, как верили и надеялись создатели этой идеологии, пока не удалось. Но в качестве способа успешного освоения земли и возвращения на нее представителей сильно урбанизированного и обуржуазившегося населения и столь же успешной защиты этой земли в период военного кризиса с помощью минимальных и ограниченных средств киббуцы доказали свою иск-

лючительную целесообразность и эффективность.

Проблемы общественных преобразований, культурного возрождения и обретения территории, неизбежность столкновений с естественной враждебностью тех, кто претендовал на эту территорию ранее, свидетельствуют о тех особых и весьма серьезных трудностях, с которыми сталкиваются национализмы диаспоры. В лучшем положении оказываются те, кто удерживал за собой хотя бы часть древней территории. Но проблемы, которые встают перед культурой диаспоры, не сделавшей националистического выбора, могут быть столь же печальными и трагическими, как и в случае, если она примет идею национализма. На самом деле можно сказать, что именно крайняя опасность альтернативной угрозы, ассимиляции, заставляет сторонников националистического решения отстаивать свою точку зрения.

Опасность положения, в котором оказываются народы, живущие в диаспоре, если они не делают выбора в пользу национализма, и то, как явно вся ситуация может быть выведена из общих закономерностей перехода от аграрного к индустриальному порядку, показывает, что совершенно неверно рассматривать национализм диаспоры как пример, опровергающий нашу теорию национализма:

«Греческий и армянский национализм возник среди народов, которые всегда были более процветающими и способными лучше понять про-

изводительные экономические системы современной Европы, чем их османские мусульманские правители»*.

В случае с нашей Руританией национализм объяснялся тем, что экономически и политически отсталое население было способно выделиться в культурном отношении и так оказалось перед националистическим выбором. Но то невыносимое положение, в каком оказываются культурно выделившиеся народы, с началом процесса индустриализации, совсем не отсталые в экономическом отношении (и даже напротив), но лишенные *политических* прав вследствие своего статуса меньшинства, вытекает из тех же общих предпосылок и ведет к тому же выводу, хотя и особым путем. Сосредоточиться исключительно на экономической отсталости, которая в большинстве типичных случаев, разумеется, имеет значение, — значит, исказить нашу позицию. Индустриальный порядок требует внутренней однородности в пределах политических единиц хотя бы в той мере, чтобы обеспечить более или менее беспрепятственную мобильность, и потому лишает «этническое» выделение как его преимущества, так и неудобства — и политического, и экономического одновременно.

* Nationalism in Asia and Africa. Elie Kedourie (ed.). London, 1970.

БУДУЩЕЕ НАЦИОНАЛИЗМА

Наша общая оценка национализма проста. Из трех стадий истории человечества вторая является аграрной, а третья — индустриальной. Аграрное общество имеет определенные общие черты: большинство населения составляют сельскохозяйственные производители, крестьяне. Лишь меньшая часть населения имеет специальность: военную, политическую, религиозную или экономическую. Большинство аграрного населения испытывает на себе воздействие двух великих нововведений аграрной эпохи — централизованного управления и изобретения письменности.

Аграрное общество в отличие от предшествующего ему и следующего за ним является мальтузианским [1]. Необходимость обеспечения производительности и укрепления обороны заставляет его стремиться к увеличению населения, которое затем так быстро использует все доступные ресурсы, что время от времени оказывается в кризисе. Три решающих фактора, действующих

в этом обществе (производство продуктов питания, политическая централизация и грамотность), образуют политическую структуру, культурные и политические границы которой редко совпадают.

Индустриальное общество совсем другое. Оно не является мальтузианским. Оно основывается на росте экономики и знания, зависит от него, а это развитие в свою очередь в конце концов обгоняет и приостанавливает дальнейший излишний рост населения. Различные факторы, влияющие на него — всеобщая грамотность, мобильность, а следовательно, индивидуализм, политическая централизация, необходимость солидной образовательной инфраструктуры, — создают ситуацию, когда в целом политические и культурные границы совпадают. Государство в первую очередь является защитником не религии, а культуры. Она обеспечивает одинаковую для всех неизбежно однородную систему образования, которая в состоянии самостоятельно подготовить служащих, способных в условиях экономического роста и мобилизации общества переходить от одного вида деятельности к другому и выполнять работу, требующую манипулирования понятиями и людьми, а не предметами. Однако для большинства этих людей границы их культуры являются если не границами мира, то, во всяком случае, определяют возможности их занятости и, таким образом, их достоинство.

В большинстве замкнутых микросообществ

аграрной эпохи культурные границы были границами мира. Сама культура осталась незаметной, невидимой: никто не воспринимал ее как идеальную политическую границу. Теперь, в условиях мобильности, она становится заметной и определяет рамки мобильности отдельной личности и, учитывая возросшие возможности занятости, превращается в естественную политическую границу. Это не значит, что, с нашей точки зрения, национализм сводится всего лишь к заботе о перспективах социальной мобильности. Люди действительно любят свою культуру, так как теперь они ощущают культурную атмосферу (вместо того, чтобы принимать ее как нечто данное «от природы») и понимают, что вне ее не смогут дышать или реализовать свою личность.

Та высокая (письменная) культура, в рамках которой людям удалось получить образование, для большинства из них становится самым драгоценным приобретением, основой их личности, гарантией уверенности и безопасности. Так возник мир, удовлетворяющий в главном, за небольшим исключением, националистическому требованию — совпадению культуры и политики. Удовлетворение националистического принципа не являлось предварительным условием возникновения индустриализма, но стало результатом ее распространения.

Необходим был переход от мира, который не только не пытался воспользоваться националистическим идеалом, но даже не решался его выра-

зять, к эпохе, которая представляет его (пусть ошибочно) достойным идеалом на все времена, таким образом превращая в действующую и обычно соблюдающуюся норму. Время такого перехода неизбежно становится периодом националистической активности. Человечество приблизилось к индустриальному веку с культурными и политическими установлениями, обычно идущими вразрез с националистическими требованиями. Процесс приведения общества в соответствие с новыми требованиями не мог, разумеется, протекать спокойно.

Наиболее жестокой является та фаза национализма, которая сопровождает раннюю индустриализацию и распространение индустриализма. Создается неустойчивая социальная ситуация, где острое политическое, экономическое и образовательное неравенство образует цепь болезненных, часто пересекающихся несоответствий. Одновременно возникают новые, согласующиеся с культурой политические единицы. При условии, если эти многочисленные и сведенные воедино неравенства более или менее совпадают с очевидными, понятными и заметными всем этническими и культурными несоответствиями, вновь возникшие единицы неизбежно встают под этнические знамена.

Индустриализация неизбежно приходит в разные районы и охватывает разные группы в разное время. В результате та взрывчатая смесь, которую представляет собой ранний индустриализм

(переселения, подвижность, резкое неравенство, не освященное временем и обычаем), проникает во все трещины и изломы культурной дифференциации, где бы они ни пролегли. Лишь в редких случаях там, где есть почва для активизации национализма, способного связать болезненные противоречия времени с жизнеспособными потенциальными государствами, удастся избежать обострения. Нарастающая волна модернизации захлестывает мир, заставляет почти каждого в тот или иной момент ощутить на себе несправедливость обращения с собой и увидеть виноватого в представителе другой «нации». Если вокруг него соберется достаточное количество таких же жертв, принадлежащих к той же нации, что и он сам, рождается национализм. Когда этот процесс идет успешно, а это происходит далеко не всегда, рождается нация.

Существует еще и элемент экономической рациональности в политической системе «побочных границ», которые национализм порождает в современном мире. Территориальные границы прорисовываются и закрепляются законом, в то время как различия в статусе никак не отмечены и не подкреплены, а скорее скрываются или отрицаются. Совершенно очевидно, что развитые экономические системы могут поглотить и затормозить развитие зарождающихся экономик, если они не находятся под надежной защитой собственного государства. Поэтому националистическое государство защищает не только культуру, но и но-

вую, подчас хрупкую экономику. (К защите религии оно, как правило, теряет интерес.) В случаях, когда современная нация образуется из тех, кто прежде составлял однородный слой — только крестьяне или только горожане с определенными профессиями, — заботы государства по превращению этой этнической группы в полноценную нацию и по развитию своей экономики становятся частью общей задачи.

Возникает вопрос, будет ли национализм оставаться ведущей силой или всеобщим политическим требованием в эпоху развитого и даже в некотором смысле окончательно завершенного индустриализма. Так как мир еще очень далек от полного удовлетворения требований экономического роста, то любой ответ на этот вопрос будет явно гипотетическим. Тем не менее попытаться ответить на него стоит. Важность экономического роста для профессиональной социальной мобильности была основой нашей аргументации. Постоянная смена занятий, усиленная ориентацией многих профессий, требующих широких связей, умения пользоваться понятиями, а не предметами, создает подобие социального равенства или уменьшает социальную дистанцию и определяет необходимость стандартизированной коммуникативной среды. Эти факторы лежат в основе как современной эгалитарности, так и национализма.

Но что произойдет, если общество индустриального изобилия станет вновь стабилизированным, немобильным? Классическое исследование

этого воображаемого состояния содержится в романе «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Соответствующее общество изобилия может стать реальностью. Однако едва ли можно предположить, что все технологические новшества в один прекрасный день исчерпают себя. Возможно, придет момент, когда новейшие технические открытия перестанут влиять на общественное устройство и на все общество в целом по примеру человека, который, достигнув определенного уровня благосостояния, оказывается не в силах изменить свой образ жизни, несмотря на то что продолжает богатеть. Трудно судить, является ли этот пример показательным, но точно ответить на такой вопрос невозможно. Человечеству пока еще очень далеко до века изобилия, так что его исход сегодня нас не слишком волнует.

Но следует сказать, что многие наши утверждения основаны на представлении о постоянном расширении мирового экономического роста и, соответственно, числа изобретений и смены профессий. Это также предполагает существование общества, построенного на обещаниях изобилия. Подобные предположения, верные сегодня, несмотря на всю их ценность, не могут оставаться навечно неизменными (даже если мы исключим угрозу уничтожения такого общества в результате атомной или какой-либо другой катастрофы). Наше культурно однородное, мобильное и почти бесструктурное в своем среднем слое общество необязательно будет существовать

вечно, даже если мы не будем принимать во внимание возможность катаклизмов. И когда такой тип общества перестанет быть преобладающим, то названные нами социальные основы национализма подвергнутся глубочайшим изменениям. Впрочем, на нашем веку это едва ли случится.

Не пытаясь заглядывать так далеко, мы можем предположить, что национализм в ближайшем будущем будет видоизменяться. Как уже отмечалось, он достигает стадии наиболее острых противоречий в момент, когда пропасть между населением, объединившимся на индустриальной основе, имеющим политические и образовательные права, и теми, кто стоит у порога новой жизни, но еще не вступил в нее, достигает наибольшей величины. По мере продолжения дальнейшего экономического развития эта пропасть уменьшается (пессимистическая уверенность в обратном явно несостоятельна). В абсолютном смысле разрыв может даже возрасти, но, когда и привилегированные, и непривилегированные поднимаются выше определенного уровня, эти различия уже не ощущаются и не воспринимаются столь болезненно. Разница между голодом и достатком очень заметна, контраст между обычным достатком и достатком с бóльшим или меньшим количеством символических, искусственных украшений уже не столь заметен, особенно если в индустриальном обществе — по крайней мере номи-

нально эгалитарном — украшения эти выдержаны в одном стиле.

Ослабление накала националистических страстей не означает тем не менее, что существование меньшинств, выделяемых на основе антиэнтропийных признаков, непременно будет благополучным. Их судьбы в современном мире часто бывали трагическими, и уверенность в том, что подобные трагедии не повторятся, была бы ничем не оправданным легкомыслием и оптимизмом. Члены зрелого индустриального общества нуждаются в беспрепятственных коммуникациях и беспрепятственной мобильности. Первое является необходимым условием зрелости, второе представляется более неопределенным. Если происходит ограничение мобильности, то оно превращается в одну из наиболее серьезных и плохо поддающихся решению проблем индустриального общества. Пропасть между благосостоянием наций также может увеличиваться, но, когда граница между имущими и неимущими уже имеется, существующая между ними напряженность не может создать ее заново, так что с позиций национализма это не имеет значения. (Я оставляю на время в стороне возможность некой враждебности всеобщего политически суверенного класса «пролетарских наций» по отношению к нациям богачей. Если она и возникает, то не как проявление национализма, а скорее как демонстрация международной солидарности бедных.)

Что же происходит с поздним национализмом,

если несоответствия между благосостоянием народов уменьшаются по мере распространения индустриальной системы? Ответить на этот вопрос определенно пока сложно, но именно он куда важнее для нас, чем прочие виды на будущее, поскольку достаточное число стран уже приближается к подобным условиям. Мы имеем возможность оценить как обоснованность наших теоретических посылок, так и конкретные исторические, эмпирические свидетельства. Большое число их уже имеется в нашем распоряжении, и, в сущности, все они связаны с самой природой индустриальной культуры.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА — ОДНА ИЛИ МНОГО?

Существует два возможных взгляда на будущее культуры в индустриальных обществах и бесчисленные промежуточные варианты между противоположными полюсами, которые они представляют. Моя собственная концепция мировой истории очевидна и проста: три великие стадии развития человечества — охотничье-собираТЕЛЬская, аграрная и индустриальная — определяют круг проблем, которые нас интересуют, но не решают их. Другими словами, марксизм ошибался вдвойне, не только преувеличивая количество стадий, свыше необходимых трех, выраженных в изящной, краткой и канонической форме триады (ее последователи, такие, как Конт [2], Фрезер [3] или

Карл Поланьи [4], были правы, независимо от того, верно или нет им удалось определить сами элементы этого триединства), но и утверждая, что как проблема, так и ее решение определены для каждой из этих стадий:

«Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще... В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» *.

Но в целом определение типа общества по имеющейся экономической базе не оправдывает себя. Не все охотничьи и аграрные общества одинаковы. Особо губительным для марксистской философии истории является то обстоятельство, что важнейшие отличительные черты надстройки (государство и письменность) *не* соотносятся с реальными изменениями социальной структуры, то есть с началом организованного производства продуктов питания. Если верить Джеймсу Вудберну, важнейшее структурное изменение происходит уже *внутри* некоторых категорий обществ охотников и собирателей, где одни предпочитают немедленный результат в виде полученной продукции, а другие ориентированы на получение ожидаемых, «отсроченных» результатов экономики охоты и собирательства. Послед-

* Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с.7).

ние, обрета нравственные и учредительные основы долговременного обязательства, уже имеют организационные предпосылки для развития сельского хозяйства, при условии если произойдет движение в эту сторону и эти общества получают необходимые технологические средства *. Необходимость выполнения разнообразных задач с течением времени развивает умение мыслить и действовать, что впоследствии обеспечивает постоянное разделение обязанностей в процессе производства. Если это так, то, значит, некое величайшее изменение общественной структуры *предшествует* происшедшему переходу к производящей экономике, в то же время не вызывает сомнения и то, что второе величайшее изменение структуры — создание государства — следует за ним, хотя не является единственно возможным, непосредственно связанным с ним **.

Человечество проделало путь от охоты и собирательства, когда все имели время для праздности, к аграрному строю, когда праздную жизнь вели только избранные (правлящая элита), и к ин-

* Woodburn I. Hunters and Gatherers today and reconstruction of the past. - E. Gellner (ed.). Soviet and Western Anthropology. London — New York, 1980.

** Эмпирические и теоретические проблемы, которые встают перед теорией непосредственной связи между базисом и надстройкой в рамках марксистской идеологии и еще больше обостряются, когда она отбрасывает однолинейный взгляд на философию истории, уже освещаются в советской литературе. См.: Лоо не Э. Современная философия истории. Таллинн, 1980, особенно часть IV.

дустриальному, подчиняющемуся трудовой этике, вообще исключаящей праздность. Или иначе можно было бы сказать, что вначале мы получали вознаграждение без промедления, затем с некоторым промедлением, а под конец, с постоянным промедлением.

Таким образом, идея определения общества в соответствии с его материальной основой вообще может показаться устаревшей. Но устарела ли она и в применении к индустриальному обществу в конце концов? Ограничивается ли обычное индустриальное общество только производительной инфраструктурой? В данном случае ответ не столь определен и не имеет столь веского обоснования, как в случае охотничьих и аграрных обществ. Возможно, что в итоге у человека индустриального общества *окажется* меньше возможностей социального выбора, чем у его предка — охотника или крестьянина. Допустим, что представление о том, что все индустриальные общества непременно будут походить друг на друга, *верно* или, во всяком случае, рано или поздно оправдается. Какие же характерные особенности культуры и национализма сможем мы отметить в этом случае?

Для начала, пожалуй, будет удобно остановиться на предполагаемой конвергенции. Представим себе, что культура общества в действительности определяется только индустриальным способом производства: одна и та же технология настраивает людей на один и тот же тип деятельно-

сти и устанавливает одни и те же виды иерархии и определяет одинаковые виды досуга, связанные с существующей техникой и потребностями производственной жизни. Различные языки могут сохраниться и, вероятно, сохранятся, но социальные потребности, которые они выражают, и те понятия, которыми они оперируют, будут одинаковы для любого языка внутри широко распространенной индустриальной культуры.

В таком мире человек, переходя с одного языка на другой, должен усвоить новый словарный запас, новые слова для обозначения знакомых ему предметов и ситуаций и кое-как выучить новую, в чисто лингвистическом смысле, грамматику. Но все это должно быть в пределах, необходимых для приспособления. Ему не потребуется новый стиль мышления. Уверенный, что достаточно по-новому назвать то, что давно и хорошо известно, он сможет, как турист, обойтись с помощью разговорника. Турист передвигается из одной области в другую, зная, что в любой из них человеческие потребности определяются необходимостью жилья, еды, питья, бензина, туристического бюро и кое-чего еще. Подобным образом в мире, где обретет силу теория конвергенции, простейшим способом обмена одной словесной валюты со стабильным, точным и надежным обменным курсом на другую будет лингвистическое приспособление внутри хорошо отлаженной международной системы понятий.

Несомненно, в этом есть доля правды. В индуст-

стриальном обществе существует сложное разделение труда, а также международная и внутренняя взаимозависимость. Несмотря на усилия, предпринимаемые национальными государствами, во избежание излишней специализации и соответственно излишней взаимозависимости, значительных размеров достигает объем международной торговли, так же как сопутствующее ей слияние понятий и установлений. Огромнейшее значение имеет то обстоятельство, что чековые книжки и кредитные карточки действительны и за «железным занавесом». Значит, своей кредитной карточкой вы можете беспрепятственно пользоваться в странах, где вы не можете говорить то, что думаете. Доллар вполне законно используется в качестве валюты, во всяком случае внутри единой социальной системы. Безусловно, также существует международная, трансидеологическая молодежная культура.

В индустриальный век благополучно выживают только высокие культуры. Народные культуры и малые традиции сохраняют лишь искусственно, под покровительством обществ охраны языка и фольклора. Более того, среди всех высоких культур высокие культуры индустриальных обществ занимают особое место и имеют большее сходство друг с другом, чем аграрные высокие культуры. Их объединяет общая познавательная основа и осознанная необходимость глобальной экономики. Возможно, они переплетаются более тесно, чем старые высокие культуры, пропитанные

определенными теологиями, своими частными, идиосинкретическими системами знаний.

Доказано ли все это? Можно ли предположить, что по мере успешного завершения индустриализации межкультурные и межлингвистические различия сведутся к чисто фонетическим, когда варьируются только внешние, искусственные признаки сообщения, в то время как смысловое содержание и социальный контекст высказываний и действий станет всеобщим, не региональным? Если это произойдет, коммуникативная пропасть между различными «языками» может стать ничтожно малой, а соответствующая социальная пропасть — сдерживающее энтропию и тормозящее мобильность влияние различных лингвистических и культурных основ — соответственно может утратить свое значение. Никакое националистическое торможение не сможет тогда препятствовать дружественности культур и интернационализму.

Нечто подобное в какой-то мере уже действительно произошло в некоторых областях. Два в равной степени опытных, хорошо образованных представителя высших профессиональных слоев развитых индустриальных государств не ощущают большого напряжения и потребности приспособливаться, посещая страны друг друга, независимо от того, насколько свободно, в грамматическом смысле, они владеют языками этих стран. Они охотно участвуют в многонациональном сотрудничестве. Они уже «говорят на одном языке»,

даже если и не говорят на языке друг друга. На таком уровне образуется нечто вроде международной биржи труда и взаимозаменяемости. Но сможет ли и станет ли распространяться подобное положение? Как ни странно, но именно интеллектуалы — основная движущая сила внутреннего национализма — в настоящее время в мире национальных государств с наибольшей легкостью, без предрассудков перемещаются между государствами, так же как это было в былые времена интернационального межгосударственного духовенства.

Если подобная свобода международного передвижения станет общей для всех, проблема национализма перестанет существовать или, во всяком случае, коммуникативные разрывы, вызванные культурными различиями, утратят свое значение и прекратят создавать националистическую напряженность. Национализм как вечная проблема, как дамоклов меч, занесенный над любой политикой, осмеливающейся не признавать националистические требования совпадения политических и культурных границ, будет уничтожен и перестанет быть постоянной и опасной угрозой. В этой воображаемой всеобщей целостности изначально однородной индустриальной культуры, разделяющейся лишь при помощи языков, имеющих фонетические и формальные, а не семантические различия, эпоха национализма останется в воспоминаниях.

Я не верю в то, что это произойдет. Я склоняюсь к точке зрения Дж. Ф. Ревеля: «Народы не

похожи друг на друга. Не были они одинаковыми в бедности, не будут одинаковыми и в роскоши» *.

Необходимость всеобщего индустриального производства, единой фундаментальной науки, сложных интернациональных контактов и прочих продолжительных связей, несомненно, обусловит в значительной мере мировое взаимодействие культур, которое мы отчасти уже наблюдаем. Это предотвратит невозможность общения, возникающую под воздействием культурных различий — этого главнейшего фактора, влияющего на обострение отношений между привилегированными и менее привилегированными (это не означает, что другие сдерживающие энтропию признаки не будут усиливать или вызывать напряжение). В развитых странах, где большинству граждан в более или менее равной степени доступна основная экономически эффективная высокая культура и где при помощи культурной, или «этнической», сети существующие неравенства нельзя вытащить на поверхность и использовать с политическими намерениями, вновь могут возникнуть до некоторой степени вторичные и политически безвредные культурный плюрализм и разнородность. С учетом такого общего развития и наличия чего-то вроде равной доступности социальных благ родственные или связанные общей историей культуры смогут сосуществовать, поддерживая друже-

* Revel J. F. En France. Paris, 1965.

ские отношения. Так, многоязычие швейцарского кантона Граубюнден не поставило под удар его политическое единство. Этого нельзя сказать о кантоне Берн, где жители Юры были настолько недовольны своим положением в составе немецкоязычной административной единицы, что провели, причем не без осложнений, реорганизацию Швейцарской Конфедерации [5].

Но по-прежнему трудно представить себе две крупные, политически значимые, независимые культуры, сосуществующие под одной политической крышей и доверяющие единому политическому центру осуществлять управление ими обеими с полной и даже равной беспристрастностью. Степень суверенности, которая при различных обстоятельствах будет отстаиваться национальными государствами, очевидна. Ограничения суверенности будут допустимы лишь для организации типа ООН, региональных конфедераций, союзов и так далее. Но не это является предметом данного исследования и темой, которую нам непременно следует здесь обсудить. Совершенно очевидно, что различия между культурами стиля жизни и общения, несмотря на одинаковую экономическую основу, останутся достаточно большими для того, чтобы нуждаться в специальном обслуживании, следовательно, в определенных культурно-политических единицах, независимо от того, будут ли они полностью суверенны.

Что можно было бы сказать о другой возможности? Альтернативной является возможность,

при которой определенные культуры останутся столь же, если не более, несоразмерными и несравнимыми, какими они якобы были в период доиндустриальных культур. Этот вопрос усложняется еще и тем, что никому, в том числе антропологам, неясно, насколько несоизмеримыми и самодостаточными были доиндустриальные культуры.

В своем крайнем выражении теория несоизмеримости (недавно весьма модная) звучит примерно так: «Каждая культура или каждый образ жизни имеет свои собственные критерии не только добродетели, но также и самой действительности, и никакую культуру нельзя судить и выносить ей приговор по законам другой культуры или в соответствии со стандартами, претендующими на универсальность и превосходство над другими (поскольку таких высших стандартов не существует)». Подобную точку зрения обычно разделяют романтики, используя ее в качестве довода для защиты архаичных верований и обычаев от рациональной критики и утверждая, что идея внешних, универсальных рациональных критериев — это миф. В такой форме эта позиция влечет за собой появление жестокого национализма, поскольку совершенно очевидно, что подчинение одной культуры политическому управлению, осуществляемому представителями другой культуры, всегда будет несправедливым.

Я глубоко сомневаюсь в возможности применения теории несоизмеримости культур даже к аграрному обществу. Я не верю в то, что ее

с полным основанием можно использовать для доказательства невозможности межкультурных связей или для сравнительной оценки аграрных и индустриальных культур. Теория несоизмеримости может показаться отчасти достоверной, благодаря своей тенденции слишком серьезно воспринимать самоабсолютизирующиеся, отвергающие критику официальные религии поздних аграрных обществ, которые действительно построены так, чтобы быть логически неуязвимыми извне и постоянно самоутверждаться изнутри. Несмотря на эти хорошо известные свойства, в настоящее время совершенно неприемлемые для людей либеральных убеждений, приверженцы таких религий на деле знали, как преодолеть собственную, широко разрекламированную ограниченность. Они есть и были концептуально двуязычны и могли с легкостью и готовностью переходить с языка соизмеримости на язык несоизмеримости. Религиозные деятели — представители вероучений, претендующих на исключительность и монополизацию истины, — несмотря ни на что, охотно принимают участие в дискуссиях Всемирного Совета Церквей. Вопрос о том, *как* нам удастся преодолеть релятивизм, интересен и сложен, и здесь на него невозможно ответить. Существенно, однако, то, что так или иначе мы его преодолеем, поскольку мы не являемся беспомощными пленниками, опутанными паутиной культурных норм, и поскольку по совершенно объективной причине, в силу общей познавательной и производительной осно-

вы и сильно разросшихся общественных связей, мы можем предполагать, что полноценный человек индустриальной эпохи будет меньшим рабом своей локальной культуры, чем его предок — человек аграрного общества.

В этом споре истина, как представляется, находится где-то посередине. Общая экономическая инфраструктура передового индустриального общества и все то, что неизбежно с нею связано, будут и в дальнейшем предполагать зависимость от культуры, что в свою очередь требует стандартизации внутри довольно значительного пространства, а также управления и обеспечения при помощи централизованных учреждений. Другими словами, человек для того, чтобы быть необходимым обществу и иметь возможность трудиться, будет нуждаться в постоянном и сложном обучении, которое ему не сможет обеспечить родственная или местная группа. Следовательно, выделение политических единиц и определение границ не сможет обойти распределение культур без ущерба для себя. Националистическое требование соответствия политической единицы и культуры и впредь с небольшими и несущественными исключениями будет оставаться в силе. В этом смысле не приходится думать о том, что эпоха национализма придет к концу.

Но мы вправе ожидать, что острота националистического конфликта ослабеет. Его обострение — результат социальных неравенств, вызванных ранним индустриализмом и неравномер-

ностью распределения. Эти социальные неравенства, пожалуй, не превосходили тех, которые допускало, не моргнув глазом, аграрное общество. Но они больше не сглаживались и не узаконивались долговечностью и традицией и существовали в условиях, которые по-своему вселяли надежду и веру в равенство и требовали мобильности. Там, где культурные различия усугубляли эти противоречия, возникали серьезные осложнения. Если они не появлялись, ничего не происходило. «Нации», этнические группы, не были националистическими, когда государства складывались в сравнительно стабильных аграрных системах. Угнетенные и эксплуатируемые классы не изменяли политическую систему, если они не могли определить себя «этнически». Только когда нация стала классом, заметной и неравномерно распределяющейся категорией в других отношениях мобильной системы, она стала политически сознательной и активной. Только когда классу удастся в той или иной степени стать нацией, он превращается из «класса в себе» в «класс для себя» или «нацию для себя». Ни нации, ни классы не являются политическими катализаторами, ими являются лишь «нации — классы» или «классы — нации».

Один интересный автор, пытающийся спасти марксизм, воскресить его или изобрести его новый жизнеспособный вариант, признает этот факт *.

* Nairn T. The Break-up of Britain. London, 1977.

В зрелом индустриальном обществе больше не рождаются те глубокие социальные противоречия, которые могут затем усиливаться этничностью. Оно может сталкиваться с проблемами, иногда трагическими — следствием сдерживающих энтропию признаков, таких, как «раса», что будет явно противоречить его декларируемой эгалитарности. Оно должно уважать культурные различия там, где они сохраняются, особенно если они не глубоки и не создают истинных преград между людьми, ибо в противном случае сами преграды, а не культуры превращаются в серьезную проблему. Несмотря на то что существовавшее в старину обилие народных культур вряд ли способно дойти до нас — разве лишь в виде символов или завернутых в целлофан образцов, — можно не сомневаться, что интернациональное многообразие достаточно различающихся высоких культур останется с нами. Инфраструктурные капиталовложения могут служить гарантией их сохранности. Отчасти из-за того, что многие границы приспособились к границам этих культур, и, поскольку националистическая идеология в настоящее время пользуется широкой популярностью, развитые общества не часто решаются открыто противостоять ей и пытаются избежать прямых с ней столкновений. По столь различным причинам в зрелом индустриальном обществе (если человечеству суждено достаточно долго им наслаждаться) национализм продолжит свое существование, но в более приглушенной, менее жестокой форме.

НАЦИОНАЛИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ

Примечательной особенностью нашего подхода к национализму был недостаточный интерес к истории националистических идей, а также к разработке и интерпретации, данной им отдельными националистическими мыслителями. В этом заключается его основное отличие от множества других подходов к этому предмету. Такое отношение не есть следствие пренебрежения к роли идей как таковых в истории. Некоторые идеи и учения имеют огромное значение. (Причем совсем не обязательно именно хорошие идеи оказывают наибольшее влияние на общество. Одни идеи хороши, другие — плохи; одни имеют огромное значение, другие — нет, причем между этими противопоставлениями не существует систематической связи.) Например, два вероучения, известные как христианство и марксизм, условны: и то, и другое содержит в себе целый комплекс тем, каждая из которых в отдельности связана с ситуацией ее породившей. Но как данное сочетание, имеющее название, историческую основу и целостность, оба они были приведены в некое единство рядом мыслителей или священников.

Это единство оказалось в какой-то мере более жизнеспособным, чем их выборочное использова-

ние. Более того, едва родившись, оба учения захватили те общества, которые восприняли их идеи крайне серьезно и стали применять их (или некоторые из них) с большой решительностью. Принимая все это во внимание, если мы хотим понять судьбу этих обществ, мы обязаны иногда с вниманием относиться к словам, доктринам и доказательствам тех мыслителей, которые создали господствующие в этих обществах учения. Например, определенные этнографические теории второй половины XIX века о сохранении коммунального духа в деревенских общинах остальных стран оказали влияние на Маркса и Энгельса в 1870-е годы и в значительной их части вошли в учение марксизма, что, возможно, решающим и катастрофическим образом отразилось на советской аграрной политике.

Но, как мне кажется, к национализму все это не имеет отношения. (Одна из причин невнимания к национализму со стороны академических политических философов, несмотря на его неоспоримое значение, заключалась, между прочим, в его недостаточной оснащенности добротными теориями и текстами, которые могли бы устроить их в качестве материала, годного для того, чтобы разложить его по полочкам.) * Дело не в том, что

* Диспропорция между значением национализма и тем вниманием, которое уделяется ему учеными, отмечена профессором Эриком Хобсбомом в его работе "Some reflections on Nationalism" (Imagination and Precision in the Social Sciences.

идеи пророков национализма просто не были первоклассными, если обсуждать их с точки зрения качества мысли: это само по себе не может оградить историю от глубочайшего и решающего влияния, которое оказывают на нее мыслители. Такой вывод подтверждается многочисленными примерами. Гораздо существеннее, что эти мыслители мало отличались друг от друга. Если бы не стало одного, его место заняли бы другие. (Сами они любили говорить нечто подобное, правда, немного в ином смысле.) Незаменимых среди них не было. Качество националистической мысли едва ли пострадало бы от такого рода замен.

Разработанные ими учения вряд ли достойны того, чтобы их анализировать. Мы сталкиваемся с явлением, непосредственно связанным с основными изменениями наших общих социальных условий и с полнейшим изменением отношений между обществом, культурой и политикой. То, каким образом и в какой конкретной форме предстает это явление, зависит в огромной степени от местных условий, требующих изучения, но я

Essays in Memory of Peter Nettl, 1972). Он приводит цитату из "Рисорджименто" Д. Мак. Смита (1968), касающуюся несколько странных взглядов Мадзини на то, какой должна быть настоящая националистическая организация Европы, которая предполагала бы включение Словении в своего рода Великую Швейцарию и объединение по какой-то причине венгров, румын и чехов с Герцеговиной. В целом рассуждения Мадзини, не касающиеся Италии, представляются более оправданными в части политической экономии и территориальной контактности, чем культурной разумности.

сомневаюсь, что оттенки националистической *доктрины* могут повлиять на изменение этих условий.

Вообще говоря, националистическая идеология страдает от понизывающей ее ложной значительности. Ее мифы извращают реальность: претендуя на защиту народной культуры, она фактически создает высокую культуру. Претендуя на защиту старого «народного» общества, она создает на деле новое анонимное массовое общество. (Донационалистическая Германия состояла из множества исконных общин, в большинстве сельских. Постнационалистическая объединенная Германия превратилась преимущественно в индустриальное и массовое общество.) Национализм пытается выдать себя за очевидный и не требующий никаких доказательств принцип, доступный для всех и нарушаемый лишь вследствие чьей-то упорной слепоты. В то же время его притягательность и захватывающая сила, неведомая ранее большинству человечества и большей части его истории, связаны лишь с совершенно особым стечением обстоятельств, сложившихся в настоящий момент. Он поклоняется исторической преемственности и выступает в ее защиту, но история человечества обязана ему откровенным и ни с чем несравнимым расколом. Он исповедует культурные различия и выступает в их защиту, при этом навязывая политическим единицам как внутреннюю, так и, правда в меньшей степени, внешнюю однородность. Его самоощущение является до смешного точным перевернутым отражением его ис-

тинной природы, какое редко встречается в других процветающих идеологиях. Поэтому я и считаю, что нам едва ли удастся многое узнать о национализме от его собственных пророков.

Даст ли нам больше изучение его врагов? Немногим больше, но при этом следует быть осторожным. Основная заслуга врагов национализма, как мне кажется, состоит в том, что они учат не принимать национализм в его собственной оценке и интерпретации как нечто само собой разумеющееся. Такие пожелания прочно скреплены с условиями современного существования, когда те, кем управляют, и те, кто управляет, принадлежат к одной и той же культуре. Это является нормой и принимается как должное, а нарушение этой нормы рассматривается как нечто постыдное. Возможность избавления от такого распространенного убеждения поистине заслуживает благодарности. Это — настоящее озарение.

Но следовать во всем за таким яростным врагом национализма, как Эли Кедури, и рассматривать национализм как нечто условное, случайно созданное европейскими мыслителями, как заблуждение, которого можно избежать, было бы не менее ужасно. Национализм — принцип однородности культурных единиц как основ политической жизни и обязательного культурного единства правителей и подданных — не заключен в действительности в природе вещей, не таится в сердцах людей и не составляет основу общественной жизни в целом. Противоположная точка зрения есть под-

лог, который националистическая доктрина с успехом выдает за нечто само собой разумеющееся. Но национализм как явление, а не как доктрина, выдвигаемая националистами, связан с определенным рядом социальных условий, и эти условия, как оказалось, стали условиями нашего времени.

Было бы такой же ошибкой отрицать это, как и принимать национализм на его условиях. Крайне нелепо полагать, что сила, распространяющаяся столь широко и повсеместно; пламя, вспыхивающее неожиданно и ярко в не связанных друг с другом местах и превращающееся от легкого дуновения в разрушительный лесной пожар, рождаются лишь в результате крайне сомнительных усилий философов. Хорошо это или плохо, но наши идеи редко обладают подобной силой.

В век дешевой бумаги, печатных станков, всеобщей грамотности и свободного общения идеологии создаются и предоставляются нам на выбор в любом количестве. Часто они формулируются и распространяются людьми, обладающими бóльшим литературным и пропагандистским даром, чем тот, которым природа наделяет пророков национализма. Тем не менее другие виды бессмыслицы никогда не оказывали подобного влияния на человечество. Причем не по причине отсутствия у их авторов литературных способностей. Не зависело это и от удачи; опыт повторялся в самых разных точках планеты, так что, если бы все зависело от случая, можно было бы надеяться, что общая модель будет значительно более

пестрой, с преобладанием доктрины одного типа в одном месте и совсем другого типа где-либо еще. Но это не так: последовательность событий оказывается примерно одинаковой почти повсюду. А поскольку мы *можем* проследить отчетливо выраженную связь между общими социальными условиями нашего времени и повсеместно преобладающей тенденцией, то мы наверняка окажемся правы, устанавливая подобную связь, а не обращаясь к случайной идее, плоду фантазии европейских умов рубежа восемнадцатого и девятнадцатого столетий.

В случае национализма (хотя по отношению к другим движениям это не всегда справедливо) исконные формулировки идеи или идей и вопрос о том, кому именно принадлежит что-либо сказанное или написанное, не имеют большого значения. Ключевая идея всегда настолько проста и понятна, что воспользоваться ею может кто угодно в любое время; и именно поэтому отчасти национализм и имеет возможность *всегда* говорить о своей «естественности». Покажется эта идея захватывающей или как в большинстве случаев — абсурдной, зависит лишь от условий жизни.

В этой связи стоит сказать о роли средств *информации* в распространении националистической идеи. Во всяком случае, этому термину принадлежит решающая роль в анализе национализма у одного видного автора *. Но обычное объясне-

* Deutsch K. W. Nationalism and Social Communication. New York, 1966.

ние связи национализма с современной доступностью информации вводит в заблуждение. Создается впечатление, что данная идея (национализм) проникает туда и тогда, когда печатное слово или другие подобные средства помогают ей добраться до аудитории в отдаленных долинах, глухих деревнях и поселениях, до аудитории, которой в годы, неосчастливленными средствами массовой информации, она была бы неведома.

Такой подход абсолютно неверен. Средства информации не передают идею, заложенную в них. Значение того, что в них закладывается, ничтожно мало: сами средства, как и повсеместная необходимость абстрактной, централизованной, стандартизированной и единой для всех информации, автоматически выражают главную идею национализма совершенно независимо от того, что именно было заложено в конкретное переданное сообщение. Самое важное и необходимое сообщение возникает благодаря самим средствам, именно той роли, которую подобные средства приобрели в современной жизни. Самым существенным оказывается язык и стиль сообщения, так как только тот, кто может их понять или хотя бы может получить такую возможность, имеет моральные и экономические основания быть членом общества, а тот, кто не может, — не имеет. Распространенность средств массовой информации и их роль в обществе данного типа настолько очевидны, что все высказанное совершенно понятно. То, что на самом деле *говорится*, не существенно.

Как именно изменились условия, превратившие идею, некогда казавшуюся странной, в притягательную и с виду не требующую доказательств, пожалуй, лучше всего передают заключительные слова — основной вывод самого Эли Кедури:

«О защищенности общества можно судить исключительно по тому, менее ли развращены и властолюбивы новые правители, или более справедливы и милостивы, или изменений не происходит вовсе, пока коррупция, алчность и тирания выбирают себе вместо жертв высланных правителей другие жертвы» *.

Вопрос, заданный профессором Кедури столь красноречиво, в аграрном обществе мог бы задать себе типичный бюргер, услышав в одно прекрасное утро, что местный паша свержен и заменен новым. Если в связи с этим жена бюргера осмелилась бы спросить у него, на каком языке говорит новый паша в кругу семьи — на арабском, турецком, персидском, французском или английском, — незадачливый бюргер посмотрел бы на нее пристально и задумался бы о том, как преодолеть новые невзгоды, связанные с тем, что его жена сошла с ума. Возможно, он отправил бы ее в специализированный приют для внезапно тронувшихся умом.

Вопрос, затронутый Кедури, действительно правомочен в обществах, где правительство было отделено от экономики, где не было необходи-

* Kedourie E. Nationalism. London, 1960, p. 140.

мости в их культурной преемственности и где, как свидетельствует цитата, можно было возлагать надежды на правительство милостивое и справедливое, а не ответственное, заботливое и представительное. (Разделяем ли и мы эти совершенно иллюзорные надежды?) Но должно было произойти что-то другое, не просто повсеместное распространение слов невежественных европейских писак, чтобы вопрос жены, некогда столь, очевидно, безумный, завладел теперь большинством умов. И что-то действительно произошло. Экономика теперь требует устойчивых и определенных отношений между всеми, кто занят в ней, *а также* между ними и правительством, а одной из основных задач правительства стало поддержание образовательной и культурной инфраструктуры.

Таким образом, тот язык, на котором объяснялся дома новый паша и которому когда-то не придавали значения, теперь является основным отличительным признаком тех, к кому новая власть благосклонна.

Следующая книга Э. Кедури «Национализм в Азии и Африке» * содержит правильно поставленные вопросы о европейском колониальном господстве над миром, отличающиеся от вопроса, заданного в конце его первой книги «Национализм». Много внимания он уделяет тому, что европейские завоеватели не смогли принимать как равных представителей завоеванного насе-

* Kedourie E. (ed.). Nationalism in Asia and Africa. London, 1971.

ления, получивших квалификацию и достигших определенного уровня, и совершенно справедливо полагает, что обособленность европейцев отчасти послужила причиной националистической реакции на их господство. До конца не ясно, является ли подобная оценка критической или беспристрастной, хотя трудно не ощутить присутствия первого, а значит, можно сказать, что вопрос, касающийся правителей, заключается теперь не только в их милосердии или алчности.

Вопрос в том, хотят ли и могут ли правители осуществлять руководство мобильным обществом, в котором управляющие и управляемые могут соединиться и составить культурную целостность. Это, на мой взгляд, и есть поистине основной вопрос, который в современных условиях приобретает первостепенную значимость и касается всех без исключения. Но если не учитывать особые современные условия, почему обособленность оказывается недостатком или слабостью?

Некоторые правители прошлого (римляне и греки) иногда пытались быть радушными и гостеприимными (хотя римляне не так уж охотно предлагали свободное римское гражданство жителям завоеванных областей), но многие такими не были и не пытались быть, причем ничуть от этого не страдали. Напротив, в традиционных условиях обособленность и недоступность правителей часто являлась огромным преимуществом на пути к стабильности. Мамлюки как класс ничего не

выиграли от открытой рыночной структуры. Отчего же обособленность неожиданно стала губительной и отчего она вызвала такую опасную повсеместную реакцию?

Сам Кедури готов дать ответ:

«В том, что Европа стала родиной и центром всех глубоких, коренных нарушений, захлестывающих мир все более широкой волной, разрушающей традиционные общества Азии и Африки и причиняющей им зло, независимо от того, испытывали ли эти общества на себе европейское господство, нет никаких противоречий. Это распыление традиционных обществ, это подрыв самостоятельных экономик...»

Если к этой оценке, с которой трудно не согласиться, добавить вопрос о том, реорганизация какого типа допустима в новых условиях, каковы современные способы производства и какому типу общества они соответствуют, можно прийти к заключению, что современный национализм не есть идеологическая случайность или следствие сопротивления, и если не во всех деталях, то в принципе он является неизбежностью. Стоит привести здесь краткий, безусловно, далеко не полный перечень ложных теорий национализма:

1. Он представляет собой нечто естественное, само собой разумеющееся и зарождающееся само по себе. Если он отсутствует, то лишь по причине насильственного подавления.

2. Это искусственная последовательность идей, которые никогда не были достойны того,

чтобы их высказывать, и возникли вследствие неудачного стечения обстоятельств. Политическая жизнь даже в индустриальных обществах может обходиться без него.

3. Теория «ложного адреса», одобряемая марксизмом. Подобно тому как некоторые мусульмане, крайние преверженцы шиизма, утверждали, что архангел Гавриил допустил ошибку, поведав Послание Мухаммеду, в то время как предназначено оно было Али, так и марксисты в принципе любят считать, что историческая тенденция или человеческое сознание допустили чудовищную оплошность. Послание, призванное разбудить *классы*, в результате какой-то почтовой ошибки было доставлено *нациям*. И теперь революционные деятели обязаны убедить ошибочного получателя, что ему необходимо переадресовать послание, а заодно и те чувства, которые оно возбуждает, тем, кому оно предназначалось в действительности. Нежелание полноправного адресата и адресата незаконного подчиниться требованиям этих деятелей вызывает их сильное недовольство.

4. Теория «темных богов»: национализм — это возрождение атавистических сил крови и территории. Этот взгляд часто поддерживают и сторонники и ненавистники национализма. Первые считают эти темные силы жизнеутверждающими, вторые — варварскими. В действительности человек эпохи национализма не хуже и не лучше людей других эпох. Преступления, совершаемые им, сродни преступлениям других времен. Они просто

больше бросаются в глаза именно из-за того, что стали более страшными, и из-за того, что совершаются с помощью более мощных технологических средств.

Ни одна из этих теорий не является обоснованной.

КТО ЗА НЮРНБЕРГ?

Автору, придерживающемуся мнения, что история националистических идеологий и учений не способствует пониманию национализма, возможно, и не стоит вступать в споры о его интеллектуальных истоках. Поскольку учение не имеет достойной внимания родословной, стоит ли обсуждать, кто представлен, а кто — нет, в его генеалогии. Тем не менее некоторые замечания возникают в связи с впечатляющим мнением Кедури о его идейных корнях.

Можно не принимать во внимание странное косвенное оправдание Гегеля, однако несправедливое обвинение в адрес Канта, вызывает недоумение. Безусловно, понятие самоопределения занимает центральное место в мыслительной системе Канта. Основной проблемой, занимавшей Канта, была оценка (и определение границы) нашего научного и нравственного познания. Главный философский прием, которым он пользовался для установления такой границы, — это утверждение, что наши познавательные и нравственные основы самозарождаются, и это неизбежно. Окончательное суждение или оценка не могут исходить извне, они должны содержаться в себе. Вот суть

его мысли. Оценка принципов, согласно которым мы существуем, связана с наличием некой структуры нашего разума, которая неизбежно влияет на него. Это среди прочего внушает нам этику беспристрастности и, кроме того, оправданную надежду найти в природе не знающие исключения закономерности. Таким образом, гарантируются упорядоченная этика и упорядоченная наука. Тот факт, что структура нашего разума *предопределена* и неизменна, освобождает нас от опасений, что основы знания и этики окажутся изменчивыми и зыбкими. Хотя они основываются только на нас самих, в этом плане мы заслуживаем доверия и представляем собой надежную основу. То обстоятельство, что именно мы или, скорее, каждый из нас в отдельности (взаимно уважая друг друга) принимаем на себя ответственность за эти принципы, освобождает Канта от боязни возвращения к отправной точке, вызывавшей возмущение у него и как у логика, и как у протестанта: если и власть, и оправдание (какими бы благородными они ни были) не зависят от нас, как в свою очередь может быть оправдана эта власть?

Авторитет личности, неподвластный изменениям, окончательный и абсолютный, ограничивает регресс. Он избавляет от позора, заключающегося в приемлемости некой внешней власти, независимо от того, насколько она высока, который одинаково отвратителен для Канта как для логика, так и для моралиста, — от позора гетерономии, как он сам это называл, представляющей со-

бой полную противоположность самоопределения. В то же время счастливое сохранение неизменности личности делает ее авторитет надежным и полезным.

Это суть философии Канта, то, каким представляется ему понятие «самоопределение». Какая связь, кроме чисто словесной, имеется между этим понятием и понятием самоопределения наций, которое так беспокоит националистов? Никакой. Для Канта отдельная человеческая личность суверенна; передача ей суверенности — революционный переворот, произведенный Кантом, равноценен перевороту, произведенному Коперником, — и это свойство одинаково и универсально для всех людей. Он уважал именно общее в людях, а не особое и, безусловно, не особое в плане культурном. Такая философия не совместима с мистикой идиосинкретической культуры. Она фактически вообще не совместима с культурой в этнографическом смысле. Для Канта индивидуальность и достоинство человека заложены в его универсальной гуманности или, в более широком смысле, в его разумности, а не в его культурной или этнической особенности. Трудно припомнить мыслителя, чьи идеи были бы столь неудобны националистам.

Напротив, кантовское отождествление человека с тем, что в нем разумно и универсально, типичное для него упорное и постоянное нежелание видеть нечто важное в чем-либо условном, историческом или специфическом, делают Канта са-

мой подходящей фигурой для той якобы нежизнеспособной, космополитичной, вялой этики Просвещения, которую отвергали и презирали националисты-романтики и которую они с радостью принесли в жертву более земной, откровенной и искренней преданности роду, территории или культуре.

Это утверждение вообще очень интересно. Кант был не тем человеком, чьи взгляды могли бы пойти на пользу национализму. Тем не менее подобное обвинение — не случайная ошибка. Причины его глубоки и заслуживают особого разговора. То обстоятельство, что Кант ощущал настоятельную потребность основывать наши главные ценности на идеях, на чем-то менее недолговечном, менее случайном, менее приземленном, чем просто традиция, которая преобладает в той или иной стране, соответствует действительности. В его философской стратегии эта потребность и острота, с которой он ее ощущал, нашли отражение. Он считал, что сможет удовлетворить ее, разработав универсальную структуру человеческого разума.

С точки зрения крипторомантической традиции, опровергающей такую последовательность внешних «разумных» основ практической жизни, традиции, которая хочет научить человечество удовлетворять свои требования внутри границ конкретного *опыта*, признавать историческую случайность, отказаться от поиска иллюзорного удовлетворения и поддержки в отстраненных

и абстрактных идеях, Кант, безусловно, очень неподходящая фигура. Он был, скорее всего, «рационалистом» в том уничижительном смысле, который профессор Майкл Окшотт придает этому определению. Другими словами, Кант, скорее всего, принадлежит к прометееву направлению европейской мысли, которое в восемнадцатом столетии, возможно, достигло расцвета. Оно стремится украсть божественный огонь и не идет на временный, случайный компромисс, соглашаясь признавать особые традиции. Кант глубоко презирал такую позицию, позволяющую довольствоваться лишь случайными историческими основаниями.

Кантовскую настойчивость в отношении самоопределения личности как единственно ценной основы нравственности нельзя объяснить его упрямством или романтизмом. Напротив, это была отчаянная попытка сохранить истинную, объективную, связную, универсальную этику (и знание). Кант принимал доказанное Юмом положение о том, что необходимость и универсальность не могут заключаться в эмпирических данных, поэтому он полагал, что они коренятся в неизменности структуры, заложенной в сознании индивидуума. Можно предположить, что *faute de mieux* * такое решение также вполне согласовывалось со своего рода протестанским индивидуалистическим достоинством, не довольствующимся оценкой извне. Но основной причиной того, почему

* За неимением лучшего (*фр.*).

критерий оценки следовало искать внутри самой личности, было его отсутствие где-либо еще.

Националисты, противопоставляющие абстрактный принцип национализма традиционным и некогда удовлетворительным местным порядкам, являются настоящими последователями Прометея. Но национализм по сути обладает чертами Януса. Его несогласие идти на политический компромисс, не принимающий в расчет националистическое требование, следует традиции Прометея. Но он одновременно и нарушает эту традицию, рассматривая нацию и ее культурное развитие как нечто решительно превосходящее абстрактную этику интернационалистов и гуманистов, благодаря своим конкретным и историческим особенностям.

Именно в этом, *весьма* общем и более всего *отрицательном*, смысле Канта и националистов можно поставить в один ряд. Ни он, ни они не следуют традиции в обыкновенном смысле. (Или национализм, скорее, избирателен в своем отношении к традиции.) В таком широком смысле и Кант, и они являются «рационалистами», ищущими основы законности в том, что существует за пределами действительно существующего.

Националисты могли бы с полным основанием провозгласить консервативных традиционалистов своими соратниками в деле отрицания абстрактного рационализма Просвещения, и часто они поступают именно так. Все они охотно признают конкретные исторические обстоятельства

и даже преклоняются перед ними и не хотят признавать, что они подчинены приговору нежизнеспособного абстрактного панчеловеческого разума.

Националисты испытывают чувство восторга в отношении некой исторической целостности более сильное, чем в отношении отдельной индивидуальности. Весьма своеобразным образом Э. Кедури не только приписывает национализму теорию волевого самоопределения, но и (на мой взгляд, ошибочно) допускает возможность исторического успеха такого национализма. Теория рождается в головах определенных философов, и тем, кто приобщается к ней, удается при помощи одной только воли навязать эту теорию несчастному человечеству! Сделав несколько уступок социальным условиям, способствующим национализму, к своей окончательной версии он пришел, приписав его подлинный успех триумфу воли.

Как мне кажется, получается, что националисты и консерваторы ссылаются на различные стороны реальности: в одном случае целостные установления, а в другом — якобы целостные сообщества, организованные по языковому, расовому или другому признаку. Но не сводится ли это расхождение к деталям, а не к принципу? Подобное утверждение и то, что кроется за ним, разумеется, не доказывают, что оба эти положения ошибочны. Я привел их всего лишь для того, чтобы показать, что чувство конкретной исторической реаль-

ности одного человека является *trahison des clercs* * другого. Как же нам решить, кто объективен?

Итак, не все, кто отвергал данную позицию (традиционализм), будут непременно так или иначе похожи друг на друга. Ошибочность этого вывода, усиленная омонимом «самоопределение», оказывается определяющей в обвинении, предъявленном Канту. Кант действительно говорил о самоопределении (автономии). Но в этом случае он также уделял много внимания синтетическому аргументу статусу наших категорий. Хорошо известно, что никто ни разу не бросался на защиту кантовской теории априорных категорий. Так же следовало бы отнестись к его взглядам и на самоопределение. Если вообще существует связь между Кантом и национализмом, то национализм направлен против него, а не исходит от него.

ОДНА НАЦИЯ, ОДНО ГОСУДАРСТВО

Нарушение националистического принципа ответственности государства и нации глубоко оскорбляет националистическое чувство, но разные нарушения этого принципа оскорбляют его в разной степени. Более всего оскорбляет его этническое различие между теми, кто управляет, и теми, кем управляют. Как заметил лорд Эктон:

«Затем сложилась ситуация, когда было решено, что народами не должны управлять чужеземцы. Законно обретенная и применяемая разумно

* Заблуждением (*фр.*).

власть была объявлена недействительной». *

Заметьте, что Эктон пишет о том, что эта ситуация сложилась, в то время, как националисты пытаются доказать, что она существовала всегда в скрытой, сдержанной форме. Но если дело доходит до арифметического несоответствия между нацией и государством, то националистическое чувство бывает сильно оскорблено, когда, если можно так выразиться, государства «недостаточно», а не когда его «слишком много». Наиболее ущемленным бывает культурно однородное население, не имеющее государства, которое оно могло бы назвать собственным. (Его граждане вынуждены жить в государстве или в государствах, управляемых другими, чужими культурными группами.) С другой стороны, группа, имеющая в своем распоряжении более одного государства, связанного с ее культурой, хотя это механически нарушает национальный принцип, все же менее ущемлена, если речь не идет об особых обстоятельствах. Каковы же они?

Культурная общность, существующая между большинством новозеландцев и большинством граждан Великобритании, такова, что две единицы никогда бы не разделились, если бы они соприкасались географически. Расстояние сделало фактический суверенитет Новой Зеландии надежным и окончательным, а отделение не вызывает ни у кого ни малейшего протеста, несмотря на ме-

* Kohn H. Nationalism, its meaning and history. Princeton, 1955, p. 122—123.

ханическое нарушение национального принципа. Почему бы и нет? Существуют арабы, сожалеющие о том, что арабам не удалось объединиться, хотя арабы, живущие в различных странах, отличаются в культурном отношении значительно больше, чем англичане и новозеландцы. Ответ напрашивается сам собой: международное положение и вообще положение англичан и новозеландцев существенно не пострадало из-за того, что им не удалось предстать перед миром в качестве одной единицы. Это обстоятельство действительно не оказывает никакого влияния на их положение, в то время как неудобства альтернативного устройства были бы весьма значительными. И напротив, доказано, что арабы, латиноамериканцы *, а также итальянцы и немцы до того, как произошло их объединение в XIX веке, страдали от раздробленности своего политического прикрытия.

Тем не менее именно такое нарушение национального принципа, как «одна нация — несколько государств», безусловно, наименее опасно и вызывает наименьшее потрясение из всех возможных нарушений. Препятствия, мешающие его исправлению, очевидны и велики. Если данной нации посчастливилось иметь *n* государств, то славное

* Продолжительная уступчивость Латинской Америки перед лицом такой ситуации убедительно противопоставляется нашей теории Жозе Меркиором. См.: Merquior José. *Politics of Transition*. — "Government and Opposition", 1981, vol. XVI, N 2, p. 230.

объединение народов, без всякого сомнения, будет означать, что фактор n уменьшит количество премьер-министров, начальников штабов, президентов академии, деловых людей и капитанов футбольных команд и так далее. На каждого человека, занимающего такого рода положение, после объединения придется $n-1$, который будет лишен его. Забегая вперед, можно сказать, что в результате объединения все эти $n-1$ обречены на потери, даже если нация в целом и выиграет.

Скорее всего тот, кто преуспеет больше в том, чтобы вернуть себе или занять упомянутые нами посты, получит что-либо большее, лучшее и более перспективное, чем раньше. Тем не менее едва ли можно не согласиться с тем, что возглавлять что-либо большое или что-либо маленькое — не то же самое, что возглавлять ничего. Даже если воображение внушит не одному, а многим возглавляющим нечто маленькое, что, когда придет их час, *они* возглавят нечто большое, доводы против объединения должны быть очень разумными и внушительными. Тем не менее объединение проходит успешно только в тех крайних случаях, когда недостатки раздробленности очень сильны и заметны, а те, кто страдает от них, в силах противопоставить свои интересы интересам тех, кто потеряет при n -кратном уменьшении количества политических постов, когда новым лидером более крупного объединения удастся возвыситься над другими с помощью силы или политической привлекательности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существует опасность, что книга, подобная этой, — несмотря на простую и четко сформулированную аргументацию (или, возможно, именно благодаря ей) — может быть неверно понята и истолкована. Прежние попытки обнародовать более ранние и более простые варианты моей концепции убедили меня в реальности такой опасности. С одной стороны, сама простота и определенность позиции может побудить читателя дополнить ее своими собственными ассоциациями, которых не предполагал вызвать автор. С другой стороны, чтобы сформулировать любую новую точку зрения (каковой, мне хотелось бы верить, является данная точка зрения), необходимо прежде всего подвести под нее базу, пусть даже незаметно.

Я полагаю, никакие оригинальные заявления невозможны, если перетасовывать истертые карты находящейся в употреблении языковой колоды. Эта колода настолько часто использовалась, что в ней не осталось простых истин, которые бы не повторялись бесчисленное число раз. Поэтому, чтобы внести свой вклад в предмет, сказать новое слово, нужно обновить всю колоду. Делать это у всех на глазах — невыносимо педантично и скуч-

но. Открытое возведение новых лесов допустимо в математике, но не в обычной прозе. Искусство состоит в том, чтобы очень ненавязчиво ослаблять привычные ассоциации и устанавливать новые на принципах, которые становятся очевидными из контекста, пока наконец не будет создан контекст, где может быть сделано заключение и простое, и в тоже время не являющееся банальным повторением старой мудрости.

О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛОСЬ

Насколько мне это удалось, судить читателям. Но по опыту знаю, что если это вообще кому-либо удастся, то крайне редко. Поэтому я хочу немного сказать о том, чего я *никоим образом* не утверждал и что мне не было *никакой* необходимости утверждать в связи с концепцией, которая была предложена здесь для рассмотрения.

В мои задачи не входит отрицать, что человечество во все времена жило группами. Напротив, люди всегда жили группами. Обычно эти группы существовали долгое время. Одним важным фактором их устойчивости была преданность людей этим группам и тот факт, что они отождествляли себя с ними. Этот элемент в человеческой жизни не требует какого-либо определенного типа экономики. Это, конечно, был не единственный фактор, помогающий сплачивать группы, но он был одним среди прочих. Если назвать этот фактор обобщенно «патриотизм», то в мои цели на вхо-

дит отрицать, что определенная доля такого патриотизма действительно составляет вечный элемент человеческой жизни. (Насколько он был силен по сравнению с другими силами — это вопрос, который мы не должны пытаться решить здесь.)

В этой книге утверждается лишь то, что национализм является очень специфической разновидностью патриотизма, которая распространяется и начинает доминировать только при определенных социальных условиях, и что эти условия реально господствуют в современном мире и больше нигде. Национализм — это разновидность патриотизма, имеющая несколько очень важных отличительных особенностей. Прежде всего сообщества, которым такой вид патриотизма, а именно национализм, дарит свою преданность, должны быть культурно однородны и зиждиться на культуре, стремящейся быть «высокой» (то есть письменной) культурой. Они должны быть достаточно велики, чтобы чувствовать себя в силах содержать собственную образовательную машину, способную развивать эту культуру, иметь мало четко разграниченных внутренних подгрупп и, напротив, анонимное, текучее и подвижное население, к которому индивид принадлежит непосредственно в силу своего культурного стиля, а не в силу своей принадлежности к составляющим его подгруппам. Однородность, грамотность, анонимность — вот ключевые черты таких сообществ.

В книге не утверждается, что культурный шо-

винизм вообще отсутствовал в доиндустриальном мире. Утверждается только, что он не имел современных политических целей или устремлений. Не отрицается, что аграрный мир время от времени создавал сообщества, которые могли напоминать современное национальное государство. Только аграрный мир *мог* делать это время от времени, тогда как современный мир *обречен* на это в большинстве случаев.

В книге не утверждается, что даже в современном мире национализм — это единственная действующая сила, и сила непреодолимая. Это не так. Она иногда побеждается какой-либо другой силой, или интересом, или инерцией.

Не отрицается мной и то, что человек может иногда находиться в плену доиндустриальных структур и иметь национальное чувство. Племенной народ может порой быть внутренне племенным и внешне национальным. Действительно, легко назвать один или два очевидных случая такого типа (например, сомалийцы или курды). Но теперь человек может претендовать на принадлежность к одной из этих национальных единиц просто в силу своей культуры и он не должен обнаруживать (и фактически не должен *иметь*) опосредующей связи с подгруппой. Не утверждается, что данная концепция может объяснить, почему в некоторые моменты, особенно в период Гитлера и Муссолини, национализм принимает исключительно агрессивный характер. Она претендует только на то, чтобы объяснить, почему национа-

лизм зародился и стал распространенным явлением.

Все эти отрицания не являются страховкой от контрпримеров, способной вместе с тем свести почти на нет смысл центрального тезиса. Они только являются признанием, что в сложном мире, на макроуровне объединений и группировок, обобщения без исключений едва ли возможны. Несмотря на это, общие тенденции, такие, как национализм, ясно прослеживаются и социологически обосновываются.

РЕЗЮМЕ

В данном случае, как и в некоторых других, скрупулезно описывая интересующий нас феномен, мы тем самым вплотную подходим к тому, чтобы правильно его объяснить. (По всей видимости, мы хорошо описываем вещи лишь тогда, когда сами их поняли.) Но рассмотрим историю национального принципа. Возьмем две этнографические карты: одну нарисованную до наступления века национализма, другую — уже после того, как принцип национализма вступил в действие.

Первая карта напоминает живопись Кокошки. Смещение контрастных цветовых пятен таково, что в каждой отдельной детали картины невозможно уловить какого-либо отчетливого рисунка, хотя во всем произведении он есть. Исключительное многообразие, разнородность и сложность характеризуют все отдельные части целого: мелкие социальные группы, являющиеся ато-

мами, из которых составлена картина, имеют сложные, неоднозначные и разнообразные связи со многими культурами. Одних связывает язык, других — господствующая религия, третьих — особая вера или обычаи, четвертых — преданность власти и так далее. Когда дело доходит до изображения политической системы, то здесь сложностей не меньше, чем в сфере культуры. Подчинение с одной целью и в одной ситуации не всегда то же самое, что подчинение с какой-либо другой целью и в какой-либо иной период.

Теперь взглянем на этнографическую и политическую карту современного мира. Она напоминает живопись не Кокошки, а, скажем, Модильяни[1]. В ней очень мало нюансов; аккуратные ровные пространства четко отделены друг от друга. Обычно ясно, где кончается одно и начинается другое, и если иногда и встречаются неопределенные или размытые границы, то крайне редко. Переходя от карты к изображенной на ней реальности, мы видим, что почти вся политическая власть сконцентрирована в руках учреждения одного типа — в меру большого и хорошо централизованного государства. В общем, каждое такое государство представляет, поддерживает и олицетворяет собой один тип культуры, один стиль общения, который господствует в его границах и сохранение которого зависит от централизованной образовательной системы, контролируемой и часто направляемой данным государством. Оно монополизирует законную культуру почти так

же, как законное насилие, а возможно, даже и больше.

И если мы посмотрим на общество, управляемое таким типом государства, мы увидим, почему все должно быть именно так. Его экономика зависит от мобильности и от способности индивидов контактировать на том уровне, какой может быть достигнут лишь в случае, если эти индивиды приобщены к высокой культуре, причем к одной и той же высокой культуре, в такой степени, какую не в состоянии был обеспечить старый способ воспроизводства индивидов в локальных общинах, как бы между делом, в процессе повседневной трудовой деятельности. Ее в состоянии обеспечить только очень монолитная образовательная система. К тому же экономические задачи, стоящие перед этими индивидами, не позволяют им всем одновременно быть солдатами и гражданами мелких локальных сообществ. Они вынуждены кому-то поручать эти обязанности, чтобы иметь возможность исполнять свою работу.

Таким образом, экономика требует и нового типа централизованной культуры, и централизованного государства. Культура нуждается в государстве. И государство в ситуации, когда оно не может полагаться на сильно разрушенные подгруппы ни в деле управления населением, ни в деле воспитания в нем того минимума морального рвения и социального отождествления, без которых социальная жизнь становится очень трудной, вероятно, нуждается в однотипном окультурива-

нии молодого поколения. Культура, а не сообщество, создает внутренние законы, такие, какие они есть. Короче говоря, взаимная связь современной культуры и государства является чем-то совершенно новым и проистекает, неизбежно, из достижений современной экономики.

То, что мы утверждаем, очень просто. Общество с производящей экономикой было прежде всего обществом, которое позволяло некоторым людям *не* быть производителями пищи, но (исключая некоторые паразитические сословия) тем не менее обязывало большинство своих членов оставаться таковыми. И только индустриальному обществу удалось избавиться от такой необходимости.

Это новое индустриальное общество подняло разделение труда на новый, беспрецедентный уровень. Но, что еще важнее, оно породило новый *тип* разделения труда, при котором все работающие люди должны быть готовы перемещаться с одной профессиональной позиции на другую даже в течение одной жизни, не говоря уже о каждом новом поколении. Таким работникам необходима общая культура и не какая-нибудь, а обладающая письменностью, развитая высокая культура. Новое разделение труда требует от каждого умения обмениваться четкой отвлеченной информацией с любым незнакомым человеком как при кратком личном контакте, так и при помощи безликих средств коммуникации. Все это — мобильность, коммуникабельность, размах,

связанный с высоким развитием специализации, — к чему привело индустриальное общество его стремление к изобилию и постоянному прогрессу, требует больших и в то же время культурно однородных социальных единиц. Для того чтобы этот тип безусловно высокой (поскольку она обладает письменностью) культуры существовал, ему нужна защита государства, централизованной обеспечивающей порядок организации или, вернее, группы организаций, способной накапливать и распределять средства, необходимые как для сохранения высокой культуры, так и для приобщения к ней всего населения, что невозможно было себе представить, а тем более осуществить в доиндустриальном мире.

Между высокими культурами индустриального века и высокими культурами аграрного строя имеются некоторые важные и очевидные различия. Аграрные высокие культуры были достижением меньшинства, исключительным правом привилегированных специалистов и отличались от раздробленных и неcodифицированных народных культур большинства, над которыми они стояли и которые стремились себе подчинить. Они создали ученое сословие, редко связанное с одной политической единицей или лингвистически размежеванным полем одной народной культуры. Напротив, они имели тенденцию и стремились быть над-этническими и над-политическими. Они часто использовали мертвый или архаичный язык и нисколько не были заинте-

ресованы в его сближении с языком повседневной и экономической жизни. Численное меньшинство посвященных и их политическое господство было существенно важной особенностью высоких культур, и, возможно, важнейшей особенностью аграрного общества является то, что большинство его членов состояло из низовых производителей, отстраненных как от власти, так и от высокой культуры. Они были связаны с религией и церковью, но не с государством и всеобъемлющей культурой. В Китае высокая культура, связанная больше с этикой и государственной бюрократией, чем с религией и церковью, была, вероятно, исключением и в этом отношении (но только в этом!) предвосхищала современную связь государства и культуры. Там высокая письменная культура сосуществовала и продолжает сосуществовать со множеством разговорных языков.

Напротив, индустриальная высокая культура больше не связана — какой бы ни была ее история — с религией и церковью. Для того чтобы обеспечивать ее существование, по-видимому, нужны силы государства, эквивалентного всему обществу, а не только силы церкви, являющейся поверхностным напластованием. Поневоле прогрессирующая экономика, зависящая от постоянного обновления знаний, не может прочно связывать свой культурный механизм (который ей, безусловно, необходим) с какой-либо религиозной доктриной, быстро устаревающей и часто становящейся смешной.

Таким образом, обязательно, чтобы культура ценилась *как культура*, а не как носитель или едва заметный придаток религии. Общество может поклоняться и поклоняется себе или своей собственной культуре непосредственно, а не, как говорил Дюркгейм, через туманную завесу религии. Переход от одного типа высокой культуры к другому внешне проявляется как наступление века национализма. Но каково бы ни было решение этой сложной и исключительно важной проблемы, зарождение индустриального мира было так или иначе тесно связано с протестантизмом, обладавшим, как оказалось, некоторыми из существенных черт, которые были характерны для вновь зарождающегося мира и которые в конце концов породили национализм.

Значение, придававшееся грамотности и самостоятельному изучению Священного Писания, унитариянство без духовенства, упразднившее монополию на священное, индивидуализм, сделавший каждого человека своим собственным наставником и духовником, не зависящим от служителей культа — все это предвосхищало анонимное, индивидуалистическое, абсолютно бесструктурное массовое общество, в котором существует более или менее равный доступ к общей культуре. Культура в нем имеет свои нормы, к которым все приобщены через письменность, а не через посредничество привилегированных специалистов. Равный доступ к Богу Священного Писания положил начало равному доступу к высокой культуре.

Грамотность стала теперь не специальностью, но необходимым условием существования всех специальностей в новом обществе, в котором каждый — специалист. В таком обществе люди преданы прежде всего распространителю грамотности и ее политическому защитнику. Равный доступ верующих к Богу становится равным доступом неверующих к образованию и культуре.

Таков мир современных, охраняемых государством, всеобъемлющих и однородных высоких культур, внутри которых существует относительно малая фиксированность общественного положения и большая доля мобильности, предполагающая всепроникающее господство единой развитой высокой культуры. Есть глубокая ирония в знаменитом объяснении истоков этого мира, принадлежащем Максу Веберу: он возник потому, что некоторые люди относились к своему призванию слишком серьезно, что и породило мир, в котором больше нет жестокой предопределенности жизненного пути, где специальностей много, но они остаются временными и необязательными, не закрепленными навеки, и где на важном, созидающем личность этапе обучения или формирования прививаются не специальные, но общие типовые навыки, зависящие от общей высокой культуры, которая определяет «нацию». *Тогда*, и только тогда, такая нация/культура становится естественной социальной единицей и не может нормально функционировать без собственной политической раковины — государства.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

1. *Вебер Макс* (1864—1920)—немецкий историк, социолог, экономист, автор книг “Протестантская этика и дух капитализма”, “Хозяйство и общество”, “Аграрная история древнего мира” и др., оказавших большое влияние на развитие исторической и социологической науки первой половины XX в.

2. Ирак с XVI в. и до 1918 г. входил в состав Османской империи. После поражения Турции в ходе первой мировой войны было провозглашено номинально независимое Иракское государство под британским протекторатом с собственной королевской династией, правившей с 1921 по 1958 г.

3. *Шамиссо Адельберт* (1781—1838)—немецкий писатель и ученый-натуралист. Автор имеет в виду его наиболее известное сочинение—повесть-сказку “Удивительная история Петера Шлемиля”(1814) о человеке, обменявшем свою тень на волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги.

1. *Красное и Черное* представители военной элиты и церковного сословия — ср. знаменитый роман Стендаля “Красное и Черное” (1830).

2. *Тунис* — арабское феодальное государство в Северной Африке, в конце XVI в. завоеванное турками, которые включили его в состав Османской империи. Номинальная власть Турции в Тунисе сохранялась до конца XIX в., хотя с XVIII в. страной управляла местная династия Хусейнидов, претендовавшая на родство с высшей турецкой аристократией.

3. *Андрески С.* — польский социолог, живущий в Великобритании (его подлинная фамилия Анджеевский). Автор широко известной книги “Военная организация и общество” (первое издание 1954 г.).

4. *Македонская империя* — древнегреческое государство, первоначально возникшее в северной Греции в правление царя Филиппа II (359—336 г. до н. э.), установившего гегемонию над всеми греческими землями. Сын Филиппа Александр Македонский (356—323 г. до н. э.) создал многонациональную мировую империю, простирающуюся от Дуная до Египта и Северной Индии.

5. *Ein Reich, ein Volk, ein Führer* — официальный лозунг нацистской Германии.

6. *Улема, улама* — общее название для сословия мусульманских богословов, правоведов и ученых (мн. число от *араб.* алим — ученый), возглав-

лявшего исламскую духовную общину — умма — в странах Ближнего и Среднего Востока.

7. *Брамины* — жреческая каста в индуизме. Ответственны за исполнение храмовых жертвоприношений и другие ритуальные церемонии, а также изучение и передачу знания священных текстов Веды.

8. *Мамлюки, мамелюки* — военная каста из невольников тюркского, черкесского и грузинского происхождения, составлявшая гвардию султанов династии Эйюбидов в Египте в 1171—1250 гг. С 1250 по 1517 г. правили Египтом, превратившись в дворцовую аристократию и выдвигая из своей среды верховных правителей. В 1811 г. были истреблены турецким правителем Египта Мухаммедом Али.

9. *Джихад* — в мусульманской религии и идеологии — “священная война” против неверных. Термин широко используется в этом значении современными исламскими радикальными группировками.

10. *Пребенда* — в системе феодального государства вознаграждение представителями знати или дворцовой бюрократии в виде денежных доходов или натуральной продукции с определенного хозяйства или территории в составе области, выделенной им в управление.

1. *“Протестантская этика и дух капитализма”* — наиболее известное сочинение Макса Вебера (см. примечание 1 к главе 1).

2. *Юм Дэвид* (1711—1776) — английский философ, историк, экономист, автор *“Трактата о человеческой природе”* (1748), многочисленных сочинений на философские, общественно-политические и морально-этические темы.

3. *Камерон из Лохиеля* — шотландский феодал, живший в первой половине XVIII в. в горной части Шотландии к северу от г. Глазго. Известен своим жестоким управлением, основанным на старинных шотландских принципах, которые выглядели крайним анахронизмом для общества XVIII в.

4. *Смит Адам* (1723—1790) — английский экономист, основатель западноевропейской политической экономии нового времени. Его главное сочинение — *“Исследование о природе и причинах богатства народов”*.

5. *Дюркгейм Эмиль* (1858—1917) — французский философ и социолог.

6. *Янычары* — замкнутая военная каста в Османской империи на основе которой с XIV в. формировались регулярные пехотные полки турецкой армии и дворцовая охрана. Полки янычар были распущены султаном Махмудом II в 1826 г.

7. *Экзогамия* — принятое в социальных науках обозначение правил и норм, запрещающих браки

в пределах одной общественной группы (рода, фратрии, касты, социального слоя и т. п.) и предписывающих браки только с представителями другой группы.

8. *Бернстайн Бэзил* (1924) — профессор социальной психологии в Институте образования Лондонского университета. Автор ряда широко известных работ по теории обучения, роли социальных различий в процессе получения образования.

9. *Веблен Торстейн* (1857—1929) — американский экономист и социолог. Его самая известная работа — “Теория праздного класса” (1899) — выдержала множество изданий и оказала огромное влияние на американскую и западноевропейскую политэкономии первой половины XX в.

4

1. *Синтоизм* (шинто) — общее название многочисленных японских обрядов и религиозных предписаний, в основе которых лежит культ предков. С конца XIX в. и до 1945 г. синтоизм считался государственной религией Японии.

Квакеры (“Общество друзей”) — секта/направление протестантизма, возникшее в Англии в середине XVII в. во главе с проповедником Георгом Фоксом. Спасаясь от преследований, квакеры эмигрировали в Америку, где до сих пор сохраняются их общины, особенно в Пенсильвании и северо-восточных штатах Новой Англии.

2. Популярная среди лингвистов цифра 8000 языков, якобы существующих сейчас в мире (иногда называют 4—5 тыс. языков), весьма условна, поскольку при этом не оговаривается граница между самостоятельными языками и диалектами. При таком подходе около 2 тыс. языков распространены среди папуасов Новой Гвинеи и еще около 2 тыс.—среди австралийских аборигенов.

3. Здесь имеется в виду, что подавляющее большинство современных шотландцев утратило свой родной язык и говорит по-английски. Лишь небольшая часть—так называемые гэлы, или хайлендеры (“горцы”—около 100 тыс. чел.), живущие в горных районах северной Шотландии,—сохраняет гэльский, или ирский, язык, близкий к ирландскому.

4. Вряд ли можно признать эти подсчеты в полной мере корректными из-за очень плохого представления современной науки о реальном числе языков во многих районах мира (см. прим. 2). Языков действительно больше, чем народов, и намного больше, чем государств, но вряд ли здесь возможны какие-либо математические соотношения.

5. *Берберы Марокко*—группа близкородственных народов (шлех, тамазигт, рифы и др.), общей численностью около 5 млн. чел., говорящих на языках берберской группы. Живут в горных районах и оазисах Сахары.

6. *“Нет орхидей для мисс Блэндиш”*—роман американского писателя Дж. Хадли Труса (первое

издание 1931 г.), пользовавшийся большой популярностью в 30—40-е годы.

7. *Диакритические знаки* — особые дополнительные символы (точки, черточки и т. п.) в буквенных системах некоторых языков над или под буквами, которые меняют их звучание или обозначают пропущенные на письме звуки.

5

1. *Аватары* (на санскрите — “спускающийся”) — в индийской мифологии формы воплощения бога Вишну, в которых он время от времени спускается на Землю. Известны девять аватар Вишну (самые знаменитые из них — Рама и Кришна); в десятой аватаре — Калки — Вишну должен разрушить этот мир и создать новый.

2. *Вотан* (скандинав. Один) — в древнегерманской мифологии верховное божество, бог войны, ветра и бурь. Образ Вотана был использован в 30-е годы нацистской пропагандой для создания новой “арийской” идеологии с восхвалением древнегерманского язычества.

3. *Руританцы и мегаломанцы* — вымышленные этнические группы, используемые автором для описания этнических процессов и зарождения национализма в Центральной и Восточной Европе.

1. *Энтропия* — изначально: физическая величина, характеризующая тепловое состояние тела или системы тел. Сейчас термин широко используется в философии и социальных науках для обозначения степени неупорядоченности в закрытых природных или социальных системах.

2. *Ирредентизм* (от *итал.* *irredento* — неосвобожденный) — политическое и общественное движение в Италии в конце XIX — начале XX в., выступавшее за присоединение к Италии пограничных земель Австро-Венгрии с итальянским населением (Триест, Трентино и др.).

3. *Квебек* — провинция в Канаде с преобладающим франкоязычным населением; центр движения франкоканадцев за национально-культурную и административную автономию.

4. *Иболенд* — юго-восточная часть Нигерии, населенная народом ибо; область сепаратистского движения в 60-е годы, которое привело к провозглашению независимой Республики Биафра и гражданской войне в Нигерии в 1966—1969 гг.

5. *Руанда и Бурунди* — небольшие государства в Восточной Африке. Их население состоит из трех социальных слоев с резко выраженными антропологическими различиями: скотоводческой аристократии тутси, отличающейся очень высоким ростом; основного земледельческого населения хуту и потомков низкорослых охотников-собирателей — пигмеев-тва.

6. *Итон, Итонский колледж* — одно из наиболее престижных и привилегированных средних учебных заведений в Великобритании, куда принимаются в основном выходцы из аристократических семей. Основан в 1440 г. в г. Итон.

7. *Кабилы* (от араб. “кабила” — племя) — народ, живущий в горных северных и центральных районах Алжира, численностью около 2,5 млн. чел. Говорят на языках берберской группы. Длительное время сопротивлялись арабскому влиянию; в XIX—XX вв. оказали ожесточенное сопротивление французскому колониальному господству в Алжире.

8. Имеется в виду длительный конфликт между представителями протестантской и католической общин в Северной Ирландии (Ольстере), обострившийся в конце 60-х годов и вызвавший введение в 1972 г. английских войск для предотвращения междоусобных столкновений.

9. *Босния* — историческая область в Югославии, ныне — Социалистическая Республика Босния и Герцеговина в составе СФРЮ. Длительное время (до 1878 г.) находилась под властью Османской Турции. Население Боснии этнически близко к сербам и хорватам, говорит на сербскохорватском языке, но в отличие от других славянских народов Югославии исповедует ислам. В 1970-х гг. боснийцы добились для себя нового официального названия — “мусульмане” или “муслимане”.

10. Вольный пересказ автором первой запове-

ди ислама “Нет Бога кроме Аллаха и Магомет пророк его”.

11. *Аббас Фархат* (1899) — алжирский политический и государственный деятель, один из руководителей Алжирской революции 1954 г. и Фронта национального освобождения Алжира. Автор ряда политических работ.

12. *Конфуцианство* — религиозное и морально-этическое учение, возникшее в Китае в VI в. до н. э. и названное по имени его основателя — философа Конфуция (Кун-цзы, 551—479 до н. э.). Оказало огромное влияние на развитие религиозных и социальных основ китайской культуры, идеологию китайской нации и государства.

13. *Нкрума Кваме* (1909—1972) — деятель африканского национально-освободительного движения, основатель и первый президент Республики Гана (с 1957 г.) В 1966 г. был свергнут в результате военного переворота, последние годы жил в Гвинее.

14. *Азанде* — народ, живущий на севере Заира и в пограничных районах Судана и Центрально-африканской Республики (около 3 млн. чел.).

15. *Фулани* (фульбе, пель) — скотоводческий народ, широко расселенный по странам Западной и Центральной Африки — Нигерии, Гвинее, Сенегалу, Мали, Камеруну и др., общей численностью около 20 млн. чел.

16. *Африканский Рог* — принятое в литературе название северо-восточной оконечности Африки, территория современных государств Сомали,

Эфиопия и Джибути. Область многовековых конфликтов между христианскими (амхара и др.) и мусульманскими (сомали, афар и др.) народами.

17. *Хайле-Селассие I* (1892—1975) — последний император Эфиопии (1930—1974). Низложен в результате военного переворота (1974), осуществленного молодыми офицерами марксистской ориентации.

7

1. *Токвиль Алексис де* (1805—1859) — французский историк, социолог, политический деятель. Автор ряда известных работ о системе демократии в Америке, истории французской революции, путевых записок о путешествии в Россию.

2. *Сланский Рудольф* (1901—1952) — политический и государственный деятель Чехословакии, один из создателей и руководителей Коммунистической партии Чехословакии. Генеральный секретарь КПЧ (с 1945 г.). В 1952 г. казнен по ложному обвинению в организации сионистского заговора.

3. Речь идет об официальной антисемитской кампании, поднятой в 1968 г. в Польше правительством В. Гомулки, в результате которой большая часть польской интеллигенции еврейского происхождения вынуждена была эмигрировать из страны.

4. *Габсбурги* — европейская королевская династия, правившая в Австрии с XIII в. до 1918 г., в Испании (1516—1700) и “Священной Римской империи германской нации” (с XV в.). В XVIII в. во

владении австрийских Габсбургов находилась огромная многонациональная империя, включавшая Чехию, Силезию, Галицию, Венгрию, южнославянские земли, Бельгию, северную Италию, Сардинию.

5. *“Декабристская” ситуация* — автор имеет в виду восстание в Петербурге 14 декабря 1825 г., поднятое тайным обществом, состоящим почти исключительно из офицеров русской армии (декабристы).

6. *Диаспора* (греч. рассеяние) — проживание народа вне пределов своей основной этнической территории. Первоначально относилось только к рассеянию евреев из Палестины в начале н. э.; в современной литературе применяется по отношению к многим народам (армянская диаспора, греческая, индийская и др.).

7. Намек на известное высказывание из “красной книжки” избранных трудов Мао Цзэдуна, где говорится о красном партизане, который легко скрывается среди населения, подобно рыбе, плавающей в реке.

8. *Кули* — принятое в Китае название низкого слоя работников (рикши, грузчики, землекопы). С распространением в XIX в. китайской эмиграции в Америку, Австралию, Индонезию это слово было перенесено на китайских наемных рабочих, а затем также на малайцев и индийцев, работавших по контракту на рудниках, плантациях, лесозаготовках, строительстве железных дорог.

9. *Рисорджименто* (итал. Возрождение)— национально-освободительное движение итальянского народа против австрийского господства и за создание единого и независимого итальянского государства (конец XVIII в.— 1870).

10. *Парсы* (парси)— замкнутая этноконфессиональная группа в Западной Индии и Пакистане (численностью около 40 тыс. чел.), потомки персов-зороастрийцев, переселившихся в Индию из Ирана в VII—X вв. н. э.

11. Речь идет об общегреческом национальном восстании против турецкого господства (1821—1829), в результате которого в 1822 г. была провозглашена независимость Греции. Восстание началось весной 1821 г. на территории принадлежавшей Турции румынской части Молдавии под руководством тайной греческой организации “Фелике Гетерия”, созданной в Одессе в 1814 г.

12. *Катастрофа* (Holocaust)— принятое в зарубежной литературе обозначение массового уничтожения евреев нацистами в Европе в годы второй мировой войны.

13. Автор имеет в виду киббуцы — сельскохозяйственные поселения-коммуны, создававшиеся в Палестине первыми еврейскими поселенцами из России в конце XIX—начале XX в. и до сих пор популярные в современном Израиле. Киббуцы построены на принципах полного равенства их членов, отказа от частной собственности, совместном производстве и распределении полученной продукции.

1. В зарубежной научной и политической литературе “мальтузианскими” (по имени английского экономиста и философа Томаса Мальтуса, 1766—1834) называются общественные системы, построенные на искусственном ограничении экономического роста, прироста и численности населения.

2. *Конт Огюст* (1798—1857) — французский философ и социолог, родоначальник позитивизма.

3. *Фрезер Джеймс* (1854—1941) — английский социолог, этнограф, историк религий, автор многих трудов о происхождении религии.

4. *Поланьи Карл* (1887—1964) — американский историк венгерского происхождения, родоначальник особого научного направления — “экономической антропологии”.

5. В 1960-е гг. франкоязычное меньшинство населения швейцарского кантона Берн поставило вопрос о создании собственной административно-политической автономии. После референдума 1974 г., давшего положительный ответ, в 1978 г. был образован новый самостоятельный кантон Юра.

6. *Мадзини Джузеппе* (1805—1872) — итальянский революционер, один из вождей итальянского национально-освободительного движения, создатель общества “Молодая Италия”, стремившегося к свержению австрийского господства и

созданию единого, суверенного итальянского государства (см. Рисорджименто).

10

1. *Кокошка Оскар* (1886—1980) — австрийский художник-экспрессионист. Его картины написаны в резко-импульсивной, нервно-напряженной манере с богатством цветовой гаммы.

2. *Модильяни Амедео* (1884—1920) — итальянский живописец и скульптор, один из крупнейших художников первой половины XX в. С 1906 г. жил в Париже.

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ, НАЦИЯХ И НАЦИОНАЛИЗМЕ

(вместо послесловия)

Имя Эрнеста Геллнера мало знакомо советскому читателю, а труды его до последнего времени почти не публиковались в Советском Союзе*. Между тем профессор Э. Геллнер, глава кафедры социальной антропологии в Кембриджском университете, член Британской и почетный член Американской академии наук — один из самых известных ученых в западной политической и

* Из почти двух десятков книг, изданных Э. Геллнером, на русский язык переведена только одна (Э. Геллнер. Слова и вещи. М., 1962). Первые публикации его статей в советских научных журналах появились только в 1989 году: “Национализм возвращается” (“Новая и новейшая история”, № 5, с. 55—62) и “Нации и национализм” (“Вопросы философии”,

социальной антропологии, философии, истории культуры. Поэтому начать мой краткий заключительный комментарий к этой книге нужно с нескольких слов о ее авторе.

Э. Геллнер родился в 1925 году в Париже. Его родители были выходцами из Праги и чешскими подданными, что определило глубокий личный интерес Геллнера к Центральной и Восточной Европе и позволяет ему называть себя в шутку “хранителем габсбургского (то есть центрально-европейского) исторического наследия”. В 1944 году 18-летним юношей он вступает в Чехословацкую танковую бригаду в составе Британской армии и участвует в боях за освобождение северной Франции. По окончании учебы в Оксфордском университете он становится преподавателем самого престижного учебного заведения в области социальных наук в Великобритании — Лондонской школы экономики, где в 1962 г. получает высшее звание профессора, а с 1984 г. возглавляет кафедру социальной антропологии в Кембридже. Геллнер — автор или издатель около 20 книг, из которых для советского читателя наибольший интерес представляют: “Государство и общество в советской научной мысли” (1988), “Мусульманское общество” (1981), “Исламские дилеммы: реформаторы, националисты и индустриализация” (1985), “Психоаналитическое дви-

№ 7, с. 120—131). Обе они представляют краткое изложение или перевод фрагментов данной книги.

жение" (1985), сборник статей "Советская и западная антропология" (1980) и другие.

Э. Геллнер неоднократно бывал в Советском Союзе, начиная с середины 60-х годов, много писал о современном состоянии советской этнографической и исторической науки. Он — тонкий и доброжелательный критик, внимательный наблюдатель и ироничный коллега; и совсем не похож на тот образ "буржуазного антимарксиста", который столько лет любовно рисовался на страницах наших общественно-политических изданий. Впрочем, своего критического отношения к марксизму, особенно к марксистской теории исторического процесса, Геллнер не скрывает, в том числе и на страницах данной книги. Думаю, правда, если бы философские работы Геллнера, его публикации о советской исторической науке вышли на русском несколькими годами раньше, мы все от этого только выиграли.

Что же открывает советскому читателю книга Геллнера о нациях и национализме, написанная на рубеже 80-х годов и не содержащая, казалось бы, никакой конкретной информации о нашей реальности, сегодняшних событиях? Прежде всего — иное понимание нации. При всех "обновлениях" нашего исторического мышления некоторые стереотипы сидят в нем очень прочно, и к ним, безусловно, надо относить понятие "нация". Известное четырехчленное сталинское определение ("исторически сложившаяся общность людей... на базе общности языка, территории,

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры”) благополучно пережило все критические удары последних десятилетий. Более того, оно по-прежнему остается негласной печкой, от которой начинаются все дискуссии по национальному вопросу. Одни попросту, не лукавя, танцуют от этой печки; другие предпочитают не замечать ее целиком или не признавать ее отдельных элементов; третьи заменяют этот стоящий в центре предмет более утонченным словом “этнос”. Увы, идея обязательности некой вполне материализованной базы для национального единства — языковой, территориальной, экономической или культурной — витает в нашем сознании, присутствует во всех наших научных построениях.

Поэтому так интересен для нас взгляд Геллнера, который легко минует наши методологические баррикады и прекрасно обходится без всяких экономических, территориальных или психических “общностей”. Вместо этого он предлагает научные конструкции, сложенные из более эмоциональных и трудноосязаемых “блоков”: сопричастности и солидарности, общего наследия и добровольной идентификации, свободного выбора и разделяемого противопоставления. Кстати, с таким же изяществом Геллнер рассыпает столь привычную для нас пятичленную периодизацию человеческой истории с ее делением на первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и социалистическую форма-

ции. Сколько лет советские ученые говорили, что те, кто не приемлет эту периодизацию, не способны построить четкую концепцию исторического процесса. Мне кажется, что книга Геллнера блестяще доказывает возможность такой концепции — иной концепции и потому особенно для нас полезной*.

В еще большей степени это относится к центральному понятию нынешней книги — национализму. В нашей научной литературе, широкой печати, общественных и политических дискуссиях слова “национализм”, “националистический”, “националисты” имеют заведомо негативное звучание. Всеобщая неприязнь к этим терминам имеет давнюю историю и восходит к мифологически четкой паре идеологических антагонистов “пролетарский интернационализм — буржуазный национализм”. И здесь мы опять оказываемся пленниками магии стереотипов. Недавняя наша история должна уже приучить нас к вполне реальному существованию “социалистического национализма” и “имперского интернационализма”, “пролетарского национализма” и многих других сочетаний, легко разрушающих стройность пер-

* Думаю, давно настала пора познакомить советского читателя со статьями-эссе Э. Геллнера о советской науке: “Этничность и антропология в Советском Союзе”, “Как человечество обрело свой смысл, или Палеолитический Октябрь, или Марксистская Книга Бытия”, “Русская марксистская философия истории” и др., собранными в его последней книге “State and Society in Soviet Thought”. Oxford, 1988.

воначального черно-белого противопоставления.

Важно, следовательно, не устоявшееся и привычное название, а реальное содержание, его изменения с развитием общественной ситуации. И здесь мы должны признать, что всю теорию, практически весь мировой научный опыт, связанные с концепциями национализма, мы проглядели. В нашем лексиконе нет ничего, кроме бессмысленных сейчас сочетаний “реакционная буржуазная политика”, “затемнение классового сознания трудящихся”, “отравленное оружие реакции” и т. п. Ни одна из почти двух десятков цитированных Геллнером книг разных авторов, имеющих в заглавии в разных сочетаниях слово “национализм”, не переведена на русский язык и, значит, практически не знакома советскому читателю. Для изучения национализма в нашей науке была оставлена лишь узкая тропинка, сводившая это явление к проблемам развивающихся стран, да и то немедленно разделявшая все процессы на “национальные”, то есть потенциально демократические, и “националистические”, то есть заведомо реакционные.

Чтобы разобраться в накопившихся за многие годы завалах, остро необходим свежий, независимый взгляд. Именно такой взгляд и предлагает Э. Геллнер, книга которого начинается с поразительного по своей непривычности и простоте определения: “Национализм — это прежде всего политический принцип, который требует, чтобы политические и национальные единицы совпадали”.

При этом, прочитав книгу, мы убедились, что Геллнер нигде на ее страницах не оправдывает и тем более не превозносит национализм как явление, хотя нигде и не вкладывает в него привычных негативных эпитетов. Для него национализм — исторический феномен, объект научного анализа, ключевое понятие, на котором строится сложная концепция национальных отношений современной цивилизации. И пусть читатель сам решит, чей взгляд на национализм — советского обществоведения или Э. Геллнера — оказывается более продуктивным.

Все это, если можно так выразиться, элементы “теоретического” вклада Э. Геллнера в наше сознание. Но его книга, посвященная общей теории национализма, имеет и огромное практическое значение для понимания нашей действительности. Написанная почти десять лет назад, она сегодня дает очень точное объяснение тех взрывов и потрясений, которые охватывают сейчас огромное многонациональное государство. Или, если говорить точнее, одно из возможных объяснений.

Вспомним, что таких объяснений нынешнего обострения национальных отношений было предложено несколько. Первое из них появилось уже при самых ранних открытых проявлениях национального чувства, во время демонстраций студентов в Алма-Ате в декабре 1986 г. и голодовки крымских татар на Красной площади в Москве летом 1987 г. Звучало оно так: “Во всем виноваты экстремисты”. Объяснение было неновым, неори-

гинальным и опиралось на всю нашу предшествующую политическую культуру. Оно было использовано затем с началом событий в Нагорном Карабахе, Азербайджане и Армении в 1988 г. и преобладает до сих пор в официальной версии каждого нового обострения закавказской ситуации, как и в трактовке острых национальных конфликтов, вспыхивающих в других частях страны.

Идея “злой руки” — в лице экстремистов, коррумпированных мафий, врагов перестройки, идеологических противников, бюрократического аппарата, зарубежных диверсионных центров, разжигающих национальные конфликты в нашей стране,—при всех своих вариантах имеет общую черту: она делает нас невиноватыми. То есть мы — хорошие и всегда были хорошими, хотя могли допускать в прошлом отдельные ошибки. Вины нашей за ситуацию нет, поскольку появились некие крайние (“экстремальные”) силы, вышедшие из-под контроля или не поддающиеся нашему контролю. При этом источник напряжения надо искать по принципу “кому это выгодно”, а так как это никогда не может быть выгодно “нам”, то источник заведомо может быть только внешним. Это опять же избавляет нас от необходимости анализировать и менять свое поведение. “Нам” важно только проявить негибкость и твердость, устоять, сохранить верность заветам и другим идеологическим принципам.

Когда национальные конфликты из цепи изолированных случайностей стали складываться

в некую очевидную ситуацию, появилось новое объяснение. Все дело в экономике. То есть обострение национальных отношений вызвано ухудшением экономической ситуации, и, если мы быстро накормим людей, национальные трудности сами исчезнут или ослабнут, перестав представлять опасность для государства.

В стремлении видеть экономическую основу в межнациональных противоречиях, и особенно отсталую экономическую основу, опять же отразилась идеологическая основа нашего сознания, когда все неизменно объяснялось экономикой, или приматом экономики, или приматом материального над идеальным. Спорить с этой схемой очень трудно: экономика действительно стимулирует обострение любой конфликтности, а ухудшение экономической ситуации и растущий товарный голод у всех перед глазами. Вероятно, голодный и обездоленный будет с большей ожесточенностью бороться за свои права. Но то, что у обеспеченного и сытого человека тоже есть национальные чувства, как и готовность их отстаивать доступными средствами, еще предстоит понять нашему обществу, все более раздраженному своей бедностью, дефицитом и экономической отсталостью.

К началу 1989 г. под давлением демократизации и роста общественной информированности в оценке событий появилось третье объяснение. Изначально все было задумано правильно, но потом возникли деформации. То есть существовал

первоначально светлый — ленинский план федерации советских республик, но затем под влиянием сталинского террора он подвергся грубым искажениям в 30—40-е годы.

Концепция “деформаций” была привлекательна тем, что предполагала существование некоей “точки перегиба”, поворотного момента, от которого исходно положительное развитие советской федерации сменилось развитием отрицательным или искаженным. Требовалось лишь найти в историческом прошлом эту точку — символ прежнего благополучия национальных отношений, и воссоздать это состояние в новом исполнении. Для этого и предлагалось вернуться к ленинскому пониманию федерации, перезаключить союзный договор, исправить произвольно измененные границы, расширить права низовых форм автономий, восстановить равновесие между центром и союзными республиками — и новая национальная гармония станет реальностью.

Но параллельно с популярностью идеи “деформаций” все отчетливее стала звучать еще одна, прежде скрытая концепция. Все, что происходит сегодня — закономерно, идет неизбежный распад последней “многонациональной империи”, поскольку образование СССР в 1922 году, как и дальнейшее расширение Союза в 1939—1940 гг., было насильственным расширением прежних границ царской России, нарушением принципов конфедеративного союза независимых советских республик, международных догово-

ров, норм государственного сосуществования.

И если нам предстоит признать, что мы столкнулись не с деформациями, а с закономерным итогом неверно созданной многонациональной системы, впереди неизбежны ее фундаментальные изменения. Наиболее популярный в таком случае прогноз: переход от союза к конфедерации, то есть политическому объединению внутренне самостоятельных государств или обретение некоторыми республиками статуса соседних дружественных стран на основе общего рынка, тесного экономического и политического сотрудничества.

В кругу подобных объяснений современного состояния национальных отношений в СССР с полным правом может быть поставлена и теория Э. Геллнера о “нациях и национализме”. Повторим еще раз ее важнейшие для нас элементы. Национализм, по Геллнеру, — особое историческое состояние, наиболее соответствующее периоду активной индустриализации. Это вовсе не признак отсталого общества; он расцветает в условиях достаточно высокой грамотности, средств информации и коммуникации, появления национальной элиты, потребности общества в квалифицированных кадрах. Национализм — движение больших городов и индустриализирующихся масс; на отсталых окраинах, в сельской местности, где национальная культура воспроизводится повседневной средой, для него нет почвы и простора.

Но если индустриализирующееся общество

подготовлено к приходу национализма, его развитие трудно остановимо. Наступает национальное “пробуждение”; массы крайне болезненно ощущают несоответствие между возможностями и состоянием своей национальной культуры, обеспеченностью ее средствами политической власти. Именно в этот момент национализм особенно чувствителен, агрессивен; он способен — вспомним слова Геллнера — найти любую щель, чтобы пробудить чувство “национального унижения”.

А теперь посмотрим вокруг себя, и мы увидим, что нам показали зеркало. Да, мы и есть то самое индустриализирующееся общество с достаточно высоким уровнем грамотности, сложившейся интеллектуальной элитой (вернее, многими национальными элитами) и чувством острой неполноценности политических форм защиты национальных культур. То есть то общество, которое, по Геллнеру, идеально подготовлено к эре национализма. И суть конфликта описана им очень точно: идет борьба за контроль над системой национально-культурного воспроизводства, за создание новых или “очищение” старых политических институтов для обеспечения реального суверенитета наций. Потому что прежние институты, еще вчера мало кого волновавшие, сегодня сотням тысяч людей кажутся ущербными, или неэффективными, или попавшими в “чужие руки”.

И если прав Геллнер (а это пусть сам решит каждый читатель его книги!), то нам действительно предложено объяснение многих сегодняшних ситуаций. Якутия и Абхазия, Молдавия и Грузия,

культурное возрождение на Украине и в Белоруссии, русская национально-патриотическая идея, самые разные движения и события в других частях страны, похоже, берут начало из одного источника недовольства. По всей стране большие и малые, от сторонников идеи государственного неправопорядка России до представителей самых малочисленных народов, требуют одного: политических форм защиты своей культуры. Требуют не денег, не библиотек или новых театров (точнее, в первую очередь не денег и не театров), а повышения государственного статуса своего народа на построенной иерархической лестнице наций, где нынешняя ступенька всем кажется недостаточной.

Значит, все, что происходит вокруг с национальными отношениями,— закономерно. Закономерно по смыслу, хотя вовсе и не обязательно должно было произойти в сегодняшнем содержании. Значит, если верить Геллнеру, по пути всего человечества, на восемьдесят лет отстав от других европейских народов, мы вступаем в эру активного национализма.

И если, наконец, эту стадию активного национализма нам пережить неизбежно, критически важно знать, как долго она продлится и сколь велики окажутся перемены. Сам автор, естественно, не может дать на это прямого ответа, но в принципе он выводится из его книги. Будущую ситуацию определяет, видимо, два процесса: возможность быстрого экономического роста и модернизации

и политика государства по отношению к “национализму” и национальным движениям. Конечно, наиболее желателен для всех благоприятный вариант — быстрая модернизация и индустриализация и мудрая национальная политика. Он должен привести нас к принципам многонациональной цивилизации, к новому правовому и демократическому государству в виде договорной конфедерации с широкой региональной автономией, парламентскому союзу или иной форме содружества.

Но век активности национализма, если верить Геллнеру, не бывает легким. Конечно, мы можем утешаться подсчетами автора, что только один из десяти “возможных” национализмов в результате оказывается успешным. Все же, надеясь на лучшее, не будем забывать и про другие возможности, и про самый худший сценарий — экономический застой в сочетании с авторитарным подавлением национальных движений. Такой вариант заведомо ведет к включению большей части территории Союза и уж, безусловно, многих республик в зону стабильных этнических конфликтов с взаимным ожесточением, национальным и религиозным антагонизмом, новыми трагедиями.

Такой прогноз — лишь один из выводов, которые можно сделать, приложив теорию Геллнера о “созидательном и разрушительном национализме” к нашей действительности. Думаю, что читатель найдет немало других важных выводов и параллелей на страницах этой книги. И все мы, оче-

видно, будем единодушны в том, что такая книга была остро нужна нам два-три года назад, когда многие события только начинались и их быстрая оценка могла повлиять на развитие ситуации. Тогда, к сожалению, этого не случилось, и с этим трагическим запозданием мы начинаем свое знакомство с западной теорией национализма.

В сентябре 1988 года Эрнест Геллнер снова приехал в Советский Союз. На этот раз не как гость или западный профессор, а как ученый-исследователь. Он прожил с нами целый год (столь важный для нас год!), с головой окунувшись в политические и научные дебаты, многочисленные дискуссии по национальному вопросу, встречи с политическими лидерами, представителями национальных и общественных движений.

Он уехал, нагруженный материалами и впечатлениями. Говорят, вернувшись в Кембридж, он сделал замечательный доклад с анализом национально-политической ситуации в Советском Союзе. Говорят, он пишет об этом новую книгу... Это была бы бесконечно нужная нам книга, которая отразила впечатления мудрого, доброжелательного и знающего человека о ключевом моменте в развитии нашего общества. Можно лишь надеяться, что с новой книгой Эрнеста Геллнера советский читатель встретится быстрее, чем это случилось с русским переводом его книги о *Нациях и Национализме*.

И. И. Крупник

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к русскому изданию	5
1. Определения	23
Государство и нация	27
Нация	32
2. Культура в аграрном обществе	37
Власть и культура в агрограмотном государстве	39
Культура	43
Государство в аграрном обществе	46
Виды аграрных правителей	48
3. Индустриальное общество	57
Общество неуклонного роста	66
Социальная генетика	76
Век всеобщей высокой культуры	88
4. Переход к веку национализма	95
О слабости национализма	103
Дикие и садовые культуры	116
5. Что такое нация?	122
Путь подлинного национализма никогда не бы-	
вает гладким	132
6. Социальная энтропия [1] и равенство в индустриаль-	
ном обществе	141
Препятствия для энтропии	143
Трещины и барьеры	162
Расхождение фокуса	166

1-785229

Томский госуниверситет 1878



Научная библиотека 00315297

NATIONS AND NATIONAL